



ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
ВЯЗЕМСКИЙ



ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Петр Вяземский
Записные книжки

«Издательство Захаров»

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)

Вяземский П. А.

Записные книжки / П. А. Вяземский — «Издательство Захаров»,

ISBN 978-5-8159-1414-8

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) – поэт, критик, мемуарист. При всей многосторонности дарования и длительной – почти три четверти века – литературной деятельности трудно назвать жанр, который вполне представлял бы Вяземского-литератора. Скорее всего, именно записные книжки, которые он вел шестьдесят с лишним лет, в наибольшей степени выявляют умственный и духовный склад его личности. Первую часть книги составляют прижизненные публикации – блестящее собрание исторических анекдотов, афоризмов и острот под названием «Старая записная книжка»; это 8-й том 12-томного собрания сочинений П.А.Вяземского. Во вторую часть (9-й и 10-й тома) входят записки с 1813 по 1878 год – это дневники и путевые заметки, расположенные в хронологическом порядке.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-8159-1414-8

© Вяземский П. А.
© Издательство Захаров

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	101



Князь Петр Андреевич Вяземский Записные книжки

Часть первая «Старая записная книжка»

Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно кстати или некстати сделанными вопросами. Не сравнить ли их с будочниками, которые ночью спрашивают у всякого прохожего «Кто идет?» единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему: «Очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперед, что ничего не знаю».

* * *

Один остроумный мизантроп, пишет Шамфор, рассуждая о развращении людей, сказал: «Бог послал бы нам и второй потоп, когда бы увидел пользу от первого».

* * *

- Видели ли вы французского короля? – спросил однажды Фридрих у д'Аламбера.
- Видел, ваше величество, – отвечал философ.
- Что же он вам сказал?
- Он со мной не говорил.
- С кем же он говорит? – спросил король с досадой.

* * *

Галкин, добрый, но весьма простой человек, желает прослыть приятным хозяином – и для того самым странным образом угощает гостей своих.

Например, не умея с ними разговаривать, он наблюдает за каждым их движением: замечает ли, что один из присутствующих желал бы кашлянуть, но не смеет, опасаясь помешать поющей тут же даме, – тотчас начинает, хотя и принужденно, кашлять громко и долго, дабы подать пример; видит ли, что некто, уронив шляпу, очень от того покраснел, – тотчас сам роняет стол, а потом подходит с торжественным видом к тому человеку, для которого испугал всё общество стукотней, и говорит ему: «Видите, что со мной случилась еще большая беда?»

Но часто он ошибается в своих наблюдениях. Например, вчера вечером, когда мы все сидели в кружке, он вздумал, не знаю почему, что мне хочется встать, и тут же отодвинул стул свой; но, видя, что я не встаю, сел и вставал по крайней мере раз двадцать, и всё понапрасну.

А нынче услышал я от одного моего приятеля, что он, говоря обо мне, сказал: «Он добрый малый, но, сказать между нами, уж слишком скромнен и стыдлив».

* * *

Иные любят книги, но не любят авторов. Неудивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел.

* * *

Панкратий Сумароков – удачный подражатель Богдановича в карикатурных изображениях, коренной принадлежности русского ума. Где француз улыбнется, русский захохочет. Французская эпиграмма хороша, когда задевает стрелой, русская – когда хватит дубиной или ударит топором. Французские глаза любят цвета нежные, но с красотью переливающиеся; русские радуются краскам хотя и грубым, но ярким. Посмотрите на наши комедии: тут уму нечего догадываться, зрителю дополнять. Всё не в бровь, а в самый глаз; всё так глаза и колет; всё высказано, выпечатано и перепечатано. То же можно сказать и о комическом духе немцев, англичан, испанцев, с той только разницей, что у нас один истинный комик – Фон-Визин, и то в одной комедии, а у тех существует театр народный.

Покойный Жолковский, лучший комический актер Варшавского театра¹, на обвинение в том, что он иногда слишком плотно шутит, отвечал: «Вы, живописцы образованные, не знаете ремесла театральных маляров, а я зрителей своих знаю. Мои декорации, слишком грубо писанные для вас, глядящих на них вблизи или сквозь искусственное стекло, в пору для них только издали». Многие из читателей наших также читают издали. Излишние утонченности ускользают от них. Они не любят бледной, воздушной красоты ни в телесном, ни в духовном: давай им красоту дородную, кровь с молоком.

* * *

Я уверен, что злые поклонники солнца радуются пасмурному дню: при таком свидетеле и судьбе мудрено пуститься на худое дело. Солнце для них – то же, что вставленные в потолок

¹ «Театр Народовы», Варшава. – Прим. ред.

в Краковском судилище деревянные головы, которые, как рассказывает предание, зывали к царю: «Будь справедлив!» Хорошо бы и каждому из нас завести у себя хотя по одной такой голове. «На то есть совесть», – скажете вы. Конечно, тем более что у многих она одеревенела не хуже деревянной башки.

* * *

Мало иметь хорошее ружье, порох и свинец; нужно еще уметь стрелять и метко попадать в цель. Мало автору иметь ум, сведения и охоту писать; нужно еще искусство писать. Писатель без слога – стрелок, не попадающий в цель. Сколько умных людей, которых ум притупляется о перо. У иного зуб остер на словах; на бумаге он беззубый. Иной в разговоре уносит вас в поток живости своей; тот же на бумаге за душу вас тянет.

* * *

«Витийство лишнее – природе злейший враг», – сказал в ответ на оду Майкова тот же Сумароков, у коего вырывались иногда стихи не красивые, но правильные и полные смысла, а особенно в сатирах. Вот примеры:

*Пред низкими людми свирепствуй ты как черт,
Простой народ и чтит того, кто горд.*

(Наставление сыну)

Мой предок дворянин, а я неблагороден.

(О благородстве)

*Но чем уверить нас о прабабках своих,
Что не было утех сторонних и у них.*

*Сторонних утех – забавное и счастливое выражение.
Один рассказывал; другой заметил тож:*

Всё мелет мельница; но что молола? Ложь.

(О злословии)

Если издатели *Образцовых Сочинений* с умыслом переменили стих Сумарокова о невеждах, в сатире «Пиит и друг его»

Их тесто никогда в сатире не закиснет

на

Их место никогда в сатире не закиснет,

то двойною виной провинились они: против истины и против поэзии. Выражение Сумарокова не щеголеватое, но забавно и точно. *Место не закиснет* не имеет никакого смысла.

Иногда же он в сатирах своих просто ругается; иногда, по-нынешнему, либеральничает и крепко нападает на злоупотребления крепостного владения, например:

*Ах! Должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль, может бык людей быку продать?*

* * *

«Тело врага умершего всегда хорошо пахнет», – сказал Вителлий и повторил Карл IX. Случалось ли вам радоваться падению соперника, лакомиться чтением дурного сочинения неприятеля вашего, заслушиваться рассказом подробным о непохвальном поступке человека, который сидит у вас на шее и на сердце? Случалось ли? Верно, да! Случалось ли в том признаваться? Верно, нет! Итак, не гнушайтесь вчуже чувством Вителлия и Карла, а только дивитесь их нескромному признанию.

Веревкин, сочинитель комедий «Так и должно» и «Точь-в-точь», которые, как говорят, осмеивали некоторых из симбирских лиц и были представлены в их присутствии; переводчик Корана, издатель многих книг, напечатанных без имени, а только с подписью деревни его Михалево; он сделался известным императрице Елизавете следующим образом. Однажды, перед обедом, прочитав какую-то немецкую молитву, которая ей очень понравилась, изъявила она желание, чтобы перевели ее на русский язык. «Есть у меня человек на примете, – сказал Шувалов, – который изготовит вам перевод до конца обеда». И тут же послал молитву Веревкину.

Так и сделали. За обедом принесли перевод. Он так полюбился императрице, что тотчас же или вскоре за тем наградила она переводчика 20 тысяч рублей. Вот что можно назвать успешной молитвой.

Веревкин любил гадать в карты. Кто-то донес Петру III о мастерстве его: за ним послали. Взяв в руки колоду карт, выбросил он искусно на пол четыре короля.

– Что это значит? – спросил государь.

– Так фальшивые короли падают перед истинным царем, – отвечал он.

Шутка показалась удачной, а гадания произвели сильное впечатление на ум государя. И на картах Веревкину посчастливилось: вслед за этим отпустили ему долг казенный в 40 тысяч рублей.

Император сказал о волшебном мастерстве Веревкина императрице Екатерине и пожелал, чтобы она призвала его к себе. Явился он с колодой карт в руке.

– Я слышала, что вы человек умный, – сказала императрица, – неужели вы веруете в подобные нелепости?

– Нимало, – отвечал Веревкин.

– Я очень рада, – прибавила императрица, – и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса.

Он был великий краснбай и рассказчик, много жил в деревне, но когда приезжал в Петербург, то с шести часов утра прихожая его наполнялась присланными с приглашениями на обед или вечер: хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечеринку или на обед, говорят, спрашивал у товарищей своих: «Как хотите: заставить ли мне сегодня слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы.

Это похоже на французских говорунов старого века. Шамфор, Рюльер также были артисты речи и разыгрывали свой разговор в парижских гостиных по приготовленным темам.

Веревкин когда-то написал шутку на Суворова, в которой осмеивал странные причуды его. Суворов знал о ней.

Он был на военной службе, а после – действительным статским советником; был в дружеской связи с Фон-Визиним и уважаем Державиним, который был учеником в Казанской гимназии, когда Веревкин был ее директором. «Помнишь ли, как ты назвал меня болваном и тупицей?» – говаривал потом бывшему начальнику своему тупой ученик, переродившийся в статс-секретаря и первого поэта своей нации. (Рассказано мне родственником его, генералом Веревкиным, который после был комендантом в Москве.)

* * *

В той же комнате «Английской гостиницы» в Варшаве, где Наполеон после бедственного русского похода давал свою достопамятную аудиенцию Прадту и некоторым полякам, был положен, спустя несколько месяцев, труп Моро, во время перевоза бранных останков его в Петербург. У судьбы много таких драматических выходов.

* * *

Одним из любимых чтений Кострова был роман «Вертер». Когда Костров бывал навеселе, заставлял читать его себе и заливался слезами. Однажды в подобном положении после чтения продиктовал он любовное письмо во вкусе «Вертера» к прежней своей возлюбленной. Жаль, что не сохранился сей любопытный памятник переводчика «Илиады».

...Он был истинный чудак, и знавшие его коротко рассказывают о нем много забавных странностей. Бывало, входит он в комнату приятелей своих в шляпе треугольной, снимет для поклона и снова наденет на глаза, сядет в угол и молчит. Только когда услышит от разговаривающих речь любопытную или забавную, то приподнимет шляпу, взглянет на говоруна и опять ее надвинет.

Он так был нравами непорочен, что в доме Шувалова отведена была ему комната возле девичьей. Однажды входит к нему Дмитриев и застаёт его на креслах перед столом, на коем лежит греческий Гомер, в пергаменте, возле Кострова горничная девушка, а он сшивает разные лоскутки.

– Что это вы делаете, Ермил Иванович?

– А вот девчата понадавали мне лоскутья, так сшиваю их, чтобы не пропали.

Добродушие его было пленительное.

Его вывели на сцену в одной комедии, кажется, ныне покоящейся на обширном кладбище нашего «Российского Феатра», и он любил заставлять при себе читать явления, в коих представлен он был в смешном виде. «Ах он пострел! – говаривал Костров об авторе. – Да я в нем и не подозревал такого ума. Как он славно потрафил меня!»

Карамзин встретился с ним в книжной лавке, за несколько дней до кончины его. Костров был измучен лихорадкой.

– Что это с вами сделалось? – спросил его Карамзин.

– Да вот какая беда, – отвечал тот. – Всегда употреблял горячее, а умираю от холодного.

Он сказывал о себе, что он сын дьячка, но на первой оде его напечатанной выставлено, что «сочинена крестьянином казенной волости». (Всё сказанное о Кострове слышано от И.И.Дмитриева.)

* * *

Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа. Луи Вовенарг сказал: «Мысли высокие истекают из сердца». Можно прибавить: и при-

емлются сердцем. Слова человека с умом – цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой – деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум.

Женщины господствуют в жизни силой слабостей своих и наших. Они напоминают извятие, представляющее Амура, который обуздал льва. Он царь; но дитя село ему на шею.

* * *

О Хераскове можно сказать, что он сохранил до старости холодность, заметную в первых стихах его молодости.

* * *

МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ

Музыка – искусство независимое, живопись – подражательное и, следовательно, подвластное. Последняя говорит душе посредством глаз и действует преимущественно на память, уподоблением с тем, что есть и что мы видели или могли видеть. Первая только по условию покорила определенным формам, но по существу своему она всеобъемлюща. Есть музыка без нот, без инструментов. В живописи всё вещественно: отнимите кисть, карандаш, и она не существует. Живое в ней – оптический обман. Истинное в ней – краски, кисти, холст, бумага – мертвое. В музыке обман то, что в ней есть мертвое. Ноты – цифры ее, соображение строев, созвучий, математика их – всё это условное, безжизненное. Живое в ней почти не осязается чувством. Живопись была сначала ремеслом, рукодельем: уже после сделалась она творением. Музыка – творение первобытное, и только из угождения прихотям или недостаткам человеческого сошла она в искусство. Шум ветров, ропот волн, треск громов, звучные и томные перебивы соловья, изгибы человеческого голоса – вот музыка довременная всем инструментам.

Живопись – наука; музыка – способность. Искусство говорить – наука благоприобретенная; но дар слова – родовое достояние человека. Не будь частей речи, не будь слов, не менее того были бы звуки неопределенные, сбивчивые, но все более или менее понятные для употребляющих; не будь нот, генерал-баса, а всё была бы музыка.

Музыка – чувство; живопись – понятие. В первой чувство родило понятие; в другой от понятий родилось чувство. Господствующее сродство музыки: ее переходчивость. Мы симпатизируем тому, что так же минутно, так же неутвердимо, так же загадочно, неопределенно, как мы. Звук потряс нашу душу – и нет его, наслаждение обогрело наше сердце – и нет его. В живописи видны уже расчет рассудка, цель, намерение установить преходящее, воскресить минувшее или будущему передать настоящее. Это уже промышленность. В музыке нет никаких хозяйственных распоряжений человека, минутного хозяина в жизни. Душа порывается от радости или печали; она выливается в восклицание или стон. Ей нет потребности передать свои чувства другому, она просто не могла утаить их в себе. Они в ней заговорили, как Мемнонова статуя, пораженная лучом денницы. Вот музыка.

Есть солнце гармонии: оно действует на своих поклонников, согревает и оплодотворяет их гармонической теплотой. Часто слышишь, что живопись предпочитается как упражнение, более независимое от обстоятельств, более удобное, чтобы провести или, как говорится, убить время, следовательно, она прибыльнее для сбывающих с рук ее излишки. Тут идет речь о пользе, а я о наслаждении и думать не хочу: говорю о потребности, о необходимости. Горе музыканту или поэту, принимающемуся за песни от скуки. Оставим это промышленникам. Несчастный, уязвленный в душе, как бы ни был страстен к живописи, возьмется ли за кисть в первую минуту поражения? Разве после, когда опомнится и покорится рассудку, предписывающему рассеяние. Без сомнения, музыкант и поэт, если живо поражены, также не станут

считать стопы или сводить звуки; но ни в какое время, как в минуты скорби душевной, душа их не была музыкальнее и поэтичнее.

Однако же и живопись имеет в нас природное соответствие. Мы часто опускаем взоры с подлинной картины природы и задумчиво взглядываем на повторение ее в зеркале воды, отражающем ее слабо, но с оттенками привлекательности. Человек по возвышенному назначению ищет совершенства, но по тайной склонности любит несовершенство.

Неотразимо чувствуя в душе преимущество музыки над живописью, я готов почти применить сказанное мною о живописи к поэзии, в сравнении с музыкой, признавая, однако же, в поэзии много свойств живописи и музыки. Впрочем, музыка одна и нераздельна, как покойная Французская республика.

В поэзии много удельных княжеств: есть поэзия ума, поэзия воображения, поэзия нравочения, поэзия живописная, поэзия чувства, которая есть законнейшая, ближайшая к общей родоначальнице – поэзии природы, поэзии вечной. Есть поэзия без стихов; на стихи без поэзии указывать нечего. В условленном выражении поэзии слишком много примеси прозаической. Поэзия – ангел в одежде человеческой; музыка прозрачно подернута эфирным покровом. Она ничего не представляет и всё изображает; ничего не выговаривает и всё выражает; ни за что не отвечает и на всё отвечает.

Язык поэзии, стихотворство, есть язык простонародный, облагоустроенный выговором. Музыка – язык отдельный, цельный. Их можно применить к письменам демотическим (народным) и иератическим (священно-служебным), бывшим в употреблении у древних египтян. Музыка – усовершенствованные, возвышенные иероглифы: знаки бестелесные возбуждают впечатления отвлеченные. В поэзии есть представительство чего-то положительного; в музыке всё неизъяснимо, всё безответственно, как в идеальной жизни очаровательного и стройного сновидения. Что ни делай, а таинственность, неопределимость – вот вернейшая прелесть всех наслаждений сердца. Мы прибегаем к изящным искусствам, когда житейское, мирское уже слишком нам постыло. Мы ищем нового мира, и вожатый, далее водящий по сей тайной области, есть вернейший любимец души нашей. Этот вожатый, этот увлекатель и есть музыка. Ангелы, херувимы, серафимы в горних пределах не живописуют силы Божией, а воспевают ее. Если пришлось бы подвести искусства под иерархический порядок, вот как я распределил бы их: 1-я – Музыка, 2-я – Поэзия, 3-я – Ваяние, 4-я – Живопись, 5-я – Зодчество.

Что за страсть, если она страдание? Недаром на языке христианском имеют они одно значение. Должно пить любовь из источника бурного; в чистом и тихом она становится усыпительным напитком сердца. Счастье – тот же сон.

* * *

Откровенная женщина говаривала: люблю старшего своего племянника за то, что он умен; меньшего, хотя он и глуп, за то, что он мой племянник. Так любим мы свои способности и неспособности, духовные силы и немощи, добрые качества и пороки. Порок, каков он ни есть, всё же наш племянник.

* * *

Опытность – дочь не времени, как говорится ложно, но событий.

* * *

Ривароль говорил о союзниках в продолжение революционной войны: «Они всегда отстают одной мыслью, одним годом и одной армией».

* * *

Мне всегда забавно видеть, как издатели и биографы сатириков ограждают божбами совесть их от подозрений в злобе и стараются задобрить читателей в пользу своих литературных клиентов. То же, что распинаться за хирурга в том, что он не кровожадный истязатель и душегубец; но сатирик – оператор, срезывающий наросты и впускающий щуп в раны.

К тому же не часто ли видим, что писатель на бумаге – совершенно другой человек изустно? Забавный комик на сцене может в домашнем быту смотреть сентябрем, а трагик быть весельчаком. Ум – вольный казак и не всегда покоряется дисциплине души и нрава. Душа всегда та же; ум разнообразен, как оборотень. Дидеро говорит: «Зачем искать автора в лицах, им выводимых? Что общего в Расине с Гофалией, в Мольере с Тартюфом?»

Чтобы твердо выучиться людям, не подслушивать, а подмечать их надобно. Одни новички проговариваются, но и у самых мастеров сердце нередко пробивается на лице или в выражениях.

Зашедши в гости, граф Растопчин забыл золотую табакерку в сюртуке; спохватившись, выходит он в переднюю и вынимает ее из кармана. Заметя это, один из лакеев поморщился и сделал губами безмолвное движение, которое выпечтало невольное признание: ах, если бы я это знал!

* * *

Филипп писал Аристотелю: не столько за рождение сына благодарю богов, сколько за то, что он родился в твоё время.

Многие классики не столько радуются творению своему, сколько тому, что оно создано по образу и подобию Аристотеля. Один врач говорил про своего умершего пациента: «Он не выздоровел, но по крайней мере умер при всех условиях и предписаниях науки».

* * *

«И овцы целы и волки сыты» было в первый раз сказано лукавым волком, или подлой овцой, или нерадивым пастухом. Счастливо то стадо, вокруг коего волки околевают с голода.

* * *

Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае сказать: «Я читал эту книгу!» Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день заброшена в вазу, а если имя твое в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, но не видать человека; остается заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги, не все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шляпочных связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы; лишнее чтение не обогащает ни памяти,

ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а иногда и выживает пользу действительную.

Теперь много занимаются составлением изданий сжатых (*editions compactes*)', но эта экономия относится только до сбережения бумаги; хорошо, если нашли бы способ сжимать понятия и сведения (впрочем, без прижимки) и таким образом сберечь время чтения, которое дороже бумаги. Как досаден гость не в пору, которому отказать нельзя; как досадно появление книги, которую непременно должно прочесть сырую со станка, когда внимание ваше углубилось в чтение залежавшейся или отвлечено занятием, не имеющим никакой связи с нею.

* * *

По новым усовершенствованиям типографической промышленности во Франции семьдесят томов Вольтера сжаты в один том. Что будет с нами, если сей способ стеснения дойдет до нас? Вообразите на месте дородного и высокорослого Вольтера иного словесника нашего или ученого известного, известнейшего, почтенного, почтеннейшего, достопочтенного по техническим титулам отличия в табели о рангах авторов, употребляемым в языке журнальном, газетном и книжном. Того и смотри, что вдавят его в пять или шесть страниц.

* * *

Ломоносов сказал: «Мокрый амур». Многие из элегий и любовных песен наших писаны под его *водяным* влиянием. На бумагу авторов сыпались не искры с пламенника амура, а дождевые капли с крыльев его. *Мокрый амур*, мокрая крыса, мокрая курица (*poule mouillée*) — всё это идет одно к другому.

* * *

Никому не весело быть в дураках, а особливо же дураку. По-настоящему, одни умные люди могут попадаться впросак; другие от природы получили тут оседлость. Видим примеры, что дураки попадают в умные люди; как тупое копьё, брошенное чужой силой, они попадают в цель на мгновение, но, не имея в себе ни цепкости, ни остроконечности, они своим весом падают стремглав. Подумаешь, что именно для этих людей выдуманно выражение *подымать на смех*.

* * *

Херасков где-то говорит: «Коль можно малу вещь великой уподобить»; и очень можно. В уподоблениях именно приличнее восходить, чем спускаться; но Поэт, однако же, сказал о луне: «Ядро казалось раскаленно», и на ту минуту был живописцем.

* * *

Херасков чудесное, смелое рассказывает всегда, как дети рассказывают свои сны с оговоркой *будто*:

*И будто трубный глас восстал в пещерах мрачных,
И будто возгремел без молний гром в дали,
И будто бурная свирепствует вода*

От солнечных лучей, как будто от огня.

Будто это поэзия!

* * *

Многих из стихотворцев с пером в руке можно представить себе в виде старухи за чулком: она дремлет, а пальцы ее сами собою движутся и чулок между тем вяжется. Зато на скольких поэтических ногах видим чулки со спущенными петлями!

* * *

В ночь на Иванов день исстари зажигались на высотах кругом Ревеля огни, бочки со смолой, огромные костры; все жители толпами пускались на ночное пилигримство, собирались, ходили вокруг огней, и сие празднество, в виду живописного Ревеля, в виду зеркала моря, отражающего прибрежное сияние, должно было иметь нечто поэтическое и торжественное. Ныне разве кое-где блещут сиротливые огни, зажигаемые малым числом поклонников старины. Это жаль. Везде падают народные обычаи, предания и поверия.

Народы как будто стыдятся держаться привычек детства, достигнув совершеннолетия. Хорошо иным; но зачем отставать от поэзии бабушкиных сказок другим, все-таки еще чуждым прозы просвещения? Право, многим поребачиться еще не грешно. Мы со своей степенностью и нагой рассудительностью смешны, как дети, которые важничают в маскарадах, навьюченные париком с буклями, французским кафтаном и шпагой. Крайности смежны. Истинное, коренное просвещение возвращает умы к некоторым дедовским обычаям. Старость падает в ребячество, говорит пословица; так и с народами; но только они заимствуют из своего ребячества то, что было в нем поэтического. Это не малодушие, а набожная благодарность. Старик с умиленным чувством, с нежным благоговением смотрит на дерево, на которое он лазил в младенчестве, на луг, на котором он резвился. В возрасте мужества, в возрасте какого-то благоразумного хладнокровия он смотрел на них глазами сухими и в сердце безмолвном не отвечал на голос старины, который подавали ему ее красноречивые свидетели. Старость – ясная лебединая песнь жизни, совершенной во благо, – имеет много созвучия с юностью изящной; поэзия одной сливается с поэзией другой как вечерняя заря с молодым рассветом. Возраст зрелости есть душный, сухой полдень: благотворный, ибо в нем сосредотачивается зиждительное действие солнца, но менее богатый оттенками, более однообразный, вовсе не поэтический.

Литературы, сии выражения веков и народов, подтверждают наблюдение. Литература, обошедши круг общих мыслей, занятий, истин, выданных нам счетом, кидается в источники первобытных вдохновений. Смотрите на литературу английскую, германскую: Шекспир – утро; Поп – полдень; Вальтер Скотт – вечер.

* * *

«Когда я начинал учиться английскому языку, – говорил Вольтер о Шекспире, – я не понимал, как мог народ столь просвещенный уважать автора столь сумасбродного; но, познакомившись короче с английским языком, я уверился, что англичане правы, что невозможно целой нации ошибаться в чувстве своем и не знать, чему радуется».

Ум Вольтера был удивительно светел, когда не находили на него облака предубеждения или пристрастия. В словах, здесь приведенных, есть явное опровержение шуток и объяснений, устремленных тем же Вольтером на *пьяного дикаря*. Будь Шекспир пьяным дикарем, дика-

рями должны быть и просвещенные англичане, которые поклоняются ему как кумиру народной славы. Дело в том, что должно глубоко вникнуть в нравы и в дух чуждого народа, совершенно покумиться с ним и отречься от всех своих народных поверий, мнений и узаконений, готовясь приступить к суждению о литературе чуждой. Шекспиристы, говоря о трагедиях Расина: «И французы называют это трагедией?», похожи на французских солдат, которые, не окрещенные при рождении своим русским морозом и незваные гости на Руси, восклицали в 1812 году, страдая от голода и холода: «И несчастные называют это отечеством!»

* * *

Слава хороша как средство, как деньги, потому что на нее можно купить что-нибудь. Но тот, кто любит славу единственно для славы, так же безумен, как скупец, который любит деньги для денег. Бескорыстие славолубивого и скупого – противоречия. Счастлив тот, кто, жертвуя славе, не думает о себе, а хочет озарить ею могилу отца и колыбель сына.

* * *

Беда иной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие люди не мыслят.

* * *

Сумароков единствен и удивительно мил в своем самохвальстве; мало того, что он выставлял для сравнения свои и Ломоносова строфы, и, отдадим справедливость его праводушию, лучшие строфы Ломоносова. Он еще дал другое доказательство в простосердечии своего самолюбия. В прозаическом отрывке «О путешествиях» вызывается он за 12 тысяч рублей сверх его жалованья объездить Европу и выдать свое путешествие, которое, по мнению его, заплатит казне с излишком: продается шесть тысяч экземпляров, по три рубля каждый, и составит 18 тысяч рублей. И продолжает: «Ежели бы таким пером, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило России, ежели бы она и триста тысяч рублей на это безвозвратно употребила».

Стихов его по большей части перечитывать не можно, но отрывки его прозаические имеют какой-то отпечаток странности и, при всем неряшестве своем, некоторую живость и игривость ума, всегда заманчивые, если не всегда удовлетворительные в глазах строгого суда.

В общежитии был он, сказывают, так же жив и заносчив, как и в литературной полемике; часто не мог он, назло себе, удержаться от насмешки и крупными и резкими выходками наживал себе неприятелей.

Он имел тяжebное дело, которое поручил ходатайству какого-то господина Чертова. Однажды, написав ему письмо по этому делу, заключил его таким образом: «С истинным почтением имею честь быть не вам покорный слуга, потому что я Чертовым слугою быть не намерен, а просто слуга Божий, Александр Сумароков».

Свидетель следующей сцены, Павел Никитич Каверин, рассказал мне ее: «В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н.П.Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он об имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что это полицейский чиновник и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы; каждый вносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастии, не попало на его мнение.

С живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: “Прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вам; а завтра для праздника пришлю вам воз сена или куль муки”».

* * *

Мнение одного государственного человека, канцлера графа Румянцева, что в характере Наполеона отзывалось некоторое простодушие, было в свое время выдано за мнение несообразное и слишком простосердечное. Не поверяя оного характеристиками Наполеона, начертанными многими из приближенных его, которые посвятили нас в тайнство его частной жизни и разоблачили пред нами героя истории, являя просто человека, можно, кажется, по одному нравственному соображению признать в некоторых отношениях истину приведенного заключения. В пору могущества нечего ему было лукавить; одним лукавством не совершил бы он геркулесовских подвигов, ознаменовавших грозное его поприще; тут нужны были страсти, а страсти – откровенны.

* * *

Суворов был остер оконечностью не одного штыка, но и пера; натиск эпиграммы его был также сокрушителен. Он писал однажды об одном генерале: «Он человек честный, воображаю, что он хорошо знает свое ремесло, и потому надеюсь, что когда-нибудь да вспомнит, что есть конница в его армии».

* * *

О некоторых сердцах можно сказать, что они свойства непромокаемого (*imperméable, water-proof*). Слезы ближних не пробивают их, а только скользят по ним.

* * *

Английский посол при дворе Екатерины сказал на ее похоронах: «On enterre la Russie (Хоронят Россию)».

«Недвижима лежит, кем двигалась вселена», – сказал о ней же Петров в одной своей оде. В царствовании Екатерины так много было обаятельного, изумляющего и величественного, что восторженные выражения о ней натурально и как-то сами собою приходили на ум. Но зато эта восторженность наводила иногда поэтов и на смешные картины. Кажется, Шатров сказал в своем стихотворении на смерть Екатерины:

*О ты, которую никто не мог измерить,
Теперь измерена саженью рук моих.*

Написать бы картину: Шатров, на коленях пред гробницей императрицы, растягивает руки как землемер или сиделец в лавке бумажных и шерстяных товаров.

* * *

Главный порок в «Душеньке»² есть однообразие. Нужно было оживить рассказ игривыми намеками и вставить два-три эпизода. Остроумные, то есть сатирические или философические вымыслы дали бы содержанию более замысловатости и заманчивости. А теперь всё наведено одной и той же краской. Строгая критика осудит также встречающееся иногда смешение греческой мифологии с русским народным баснословием, или сказкословием.

Особенное достоинство поэмы заключается в легкости стихосложения, разумеется, относительно времени, в которое она была написана. Нигде нет изящности искусства; но зато часто встречается красивость и прелесть небрежности. В этом Богданович несколько сходится с Хемницером. Жаль также, что с шуток он падает иногда в шутовство.

Говоря беспристрастно, «Душенька» – цветок свежий и красивый, но без запаха. Впрочем, и то сказать, что обоняние наше стало взыскательнее и причудливее, нежели было оно у наших отцов. Нелединский справедливо замечает, что известный стих «Душеньки» «И только ты одна прекраснее портрета» не совсем удовлетворителен; для полноты смысла нужно было сказать, что она прекраснее *своего* портрета, а не вообще портрета.

* * *

Успех комедии «Мизантроп» – торжество малодушного и развратного века. Мольер хотел угодить современникам и одурачил честного человека; но зато с каким мастерством, искусством и живостью! Краски его не полиняли до нашего времени. Вообще о комедиях его можно сказать, что он был в высшей степени портретный живописец. Лица его верны и живы, как в главных чертах, так и в малейших. О целых картинах его не всегда то же скажешь.

* * *

Державин, кажется, был чуток к одним современным и наличным вдохновениям. Поэтическая натура его не была восприимчива в отношении к минувшему. В стихах его Петру Великому нет ни одного слова, ни одного выражения, достойного героя и поэта. Некоторые из воспетых им современников были счастливее; но зато Державин был несчастнее. Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает хвалителя. Впрочем, не следует заключить из этого, что Державин только льстецом был, хотя и сказал, что «раб лишь только может льстить». Он забыл или не чувствовал, что раб может молчать.

– Если бы вы знали, как трудно написать хорошую трагедию, – говорил трагик, которого творения не имели успеха на сцене.

– Верю, – отвечал ему собеседник его, – но знаю, что очень легко не писать трагедий.

Так же легко не писать и похвальных од.

Многие из второстепенных произведений Державина если не по лирическому движению, живописи и яркости выражения, то по крайней мере по мыслям и чувствам, в них выраженным, должны оставаться в памяти читателей. Таковы, например, стихи «К Храповицкому», «К графу Валерьяну Зубову», «К Скопихину», «Ко второму соседу», «Мужество» и некоторые другие стихотворения. Читая их, не скажешь, что Державин – первый наш лирик, но признаешь в нем мыслящего поэта и поэта-философа.

² Поэма Иполлита Богдановича. – Прим. ред.

Знавшим лично Оленина, который был необыкновенно малого роста и сухощав, нельзя без смеха прочесть стих Державина к нему:

Нам тесен всех других покрой.

Иногда стихи его могут соперничать со стихами Хвостова. Например, из стихотворения «Званка»:

*Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я, соседей с вереницей.*

По смыслу и течению слов выходит, что он на дрожках соседей катался в лодке по берегу пеш верхом.

* * *

Критик Болтин был пасынок Кроткова, который из шалости и от долгов распустил слух о своей смерти и выехал из Петербурга в гробе в свою симбирскую деревню. Молодой Болтин последовал за ним. Попечительный о воспитании его, отчим заставлял его петь в хорах, составленных из дворовых людей, и этим утешал себя на веселых и приятельских попойках. Природные склонности боролись в юноше с силой развратного примера и победили ее. Урывками от пьяных бесед предавался он, наедине и втихомолку, *трезвому пьянству Муз*. Он перевел два тома французской «Энциклопедии», которая была тогда в большой славе.

Наконец обстоятельства его приняли счастливый оборот. Он возвратился в Петербург и посвятил себя любимой своей науке – истории. Любопытно было бы иметь более биографических сведений об этом замечательном человеке.

* * *

О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства недостает. Наши слова выходят сплошь, целиком и сырьем. О бедности наших рифм и говорить нечего. Сколько слов, имеющих важное и нравственное значение, никак рифмы себе не приищут. Например, *жизнь, мужество, храбрость, ангел, мысль, мудрость, сердце* и т.д. За словом *добродетель* тянется непременно *свидетель*; за словом *блаженство* тянется *совершенство*. За словом *ум* уже непременно вьется рой *дум* или несется *шум*. Даже и бедная *любовь*, которая так часто ложится под перо поэта, с трудом находит двойчатку, которая была бы ей под пару.

Всё это должно невольно вносить некоторое однообразие в наше рифмованное стихосложение. Да и слово *добродетель* сложилось неправильно: оно по-настоящему не что иное, как слово *благодетель*. А слово *доблесть* у нас как-то мало употребляется в обыкновенном слоге, да и рифмы не имеет.

Вольтер говорил о французском языке, что он тщеславный нищий, которому нужно подавать милостыню против воли его. А мы выдумали, что наш язык такой богач, что всего у него много и новыми пособиями только обидишь его.

* * *

Прочтите в «Российском Театре» комедию Крылова «Проказники», а после некоторые из басней его. Можно ли было угадать в первых опытах писателя, что из него выйдет впоследствии времени? Это не развитие, а совершенное перерождение. В «Проказниках» полное отсутствие таланта, шутки плоские и, с позволения сказать, прямо холопские. Впрочем, как комедии Княжнина ни далеки от совершенства, но в «Российском Театре» глядит он исполненным. Комедий Фон-Визина нет в этом старом собрании наших драматических творений.

Вообще комедии наши ошибочно делятся на действия. Можно делить их на главы, потому что действия в них никакого нет. И лица, в них участвующие, называются действующими лицами, когда вовсе не действуют; а назвать бы их разговаривающими лицами, а еще ближе к делу – просто *говорящими*, потому что и разговора мало. В наших комедиях нет и в помине той живой огнестрельной перепалки речей, которой отличаются даже второстепенные и третьесортные французские комедии. Правда и то, что французский язык так обработан, что много тому содействует. Французские слова заряжены мыслью или по крайней мере блеском, похожим на мысль. Тут или настоящая перепалка, или фейерверочный огонь.

* * *

NN говорит, что главная беда литературы нашей заключается в том, что, за редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные мало грамотны. У одних имеется недостаток в мыслях, у других – в грамматике. У одних нет огнестрельных снарядов, чтобы сильно и впопад действовать своим орудием; у других есть снаряды, но нет орудия. Какое же тут выражение, когда многие и многие из этого общества чуждаются пера и не умеют им владеть?

У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. Часто встречаешь людей, которые говорят очень живо и увлекательно, хотя и не совсем правильно. Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев, замечательных и метких остряков. Но всё это выдыхается и забывается, а написанные пошлости на веки веков прикрепляются к бумаге.

* * *

«Картина жизни и военных деяний Российско-императорского генералиссимуса князя Александра Даниловича Меншикова, фаворита Петра Первого. 3 части. 1803 г.». Есть и другое издание в четырех частях, 1809 года.

Так же как и предыдущая книга, историческая всякая всячина, историческая крошка. Нет критического взгляда, нет разумной и нравственной оценки личности и событий. Но книга, в отличие от первой, составлена с некоторым порядком и писана слогом более сносным. Меншиков – русский Мазарини: голова государственная, а дух корыстолюбивый и жадный власти до безграничности. Как королева Анна Австрийская благоволила к одному, так Екатерина I – к другому. В обоих замашка сочетать свою кровь с царской кровью.

Петра нельзя слишком укорять в слабости к любимцу своему, хотя он часто употреблял во зло царское доверие и запятнал себя многими чертами личной корысти и незаконными поступками. Петр не утаивал от суда преступлений любимца своего, что мог бы он, при самодержавии своем, легко исполнить; но после он миловал его, а впрочем, и заставлял часто расплачиваться и вознаграждать ущербы, от него понесенные казной и частными лицами. Петру I для его геркулесовских подвигов нужны были богатырские подмастерья, государственные под-

геркулесы. В этом отношении он дорожил Меньшиковым и жертвовал иногда государственной нравственностью в пользу того же государства. К тому же он знал, что, где нужно, дубинка его распрямит в свое время кривизны и безнравственности предосудительных действий.

Меньшиков не был при Петре, как было при других дворах и в другие царствования, любимцем по личной державной прихоти. Нет, Меньшиков был в полном смысле сподвижником Петра во всех его предприятиях, и держал он его ввиду предприятий будущих. Закон, осуждая Меньшикова, делал свое дело; Петр, прощая его, пользовался своим правом помилования.

* * *

«Красный Корсар», роман американца Купера.

Купер – романист пустынь, влажной и сухой. (В другом романе описывает он американскую степь.) Романы его и отзываются немного однообразием пустыни; но зато есть что-то беспредельное и свежее. Никто, кажется, сильнее и вернее его не был одарен чутьем пустыни и моря. Он тут дома и переносит читателя в стихию свою.

Вальтер Скотт вводит вас в шум и бой страстей, человеческих побуждений; Купер приводит вас смотреть на те же страсти, на того же человека, но вне очерка, обведенного вокруг нас общежитием, городами, условиями их и т.д. С ним как-то просторнее, атмосфера его свободнее, очищеннее и прозрачнее. Малейшее впечатление, которое в сфере Вальтера Скотта ускользнуло бы, здесь действует сильнее и раздражительнее. Чувство читателя изощряется под влиянием стихии, куда автор нас переносит. Мы видим далее и глубже. В Купере более эпического, в Вальтере Скотте более драматического, хотя в том и в другом эти оттенки иногда сливаются.

Кажется, «степной» роман Купера лучше «Корсара», особенно же конец его как-то тянется и стынет. В характере «Корсара» нет ничего человечески-преступного, а потому и ужас, который вселяет имя его, и наказание, которое ему готовится, мало возбуждают наше нравственное сочувствие. Это дело морской полиции, и только. Но зато море – какое раздолье и какая прелесть у Купера! Так и купаешься в этом море. Корабль, все морские принадлежности, вся адмиралтейская часть изображены в живописном совершенстве. Петр I осыпал бы Купера золотом и пожаловал бы его в адмиралы: он так и вербует морю.

В романах Вальтера Скотта в толпе людей не всегда успеешь разглядеть человека; мимо иных действующих лиц проходишь иногда без внимания: оно всё обращено на лица, особенно выдающиеся вперед, и на вышины, как обыкновенно водится и в житейском быту. На пустом и обширном горизонте Купера всякое существо рисуется отдельно и цело, всё видимое возбуждает внимание, и следишь за ним, пока не скроется оно совершенно из глаз. Общежительный человек скажет: должно жить в мире Вальтера Скотта и заглядывать в мир Купера. Нелюдим (не то что человеконенавистник; нелюдим может и не иметь ненависти к человечеству, а у нас неправильно то и другое слово принимаются в значении мизантропа) скажет: должно жить (то есть любо жить) в мире Купера, а для развлечения можно заглядывать и в мир Вальтера Скотта.

* * *

«Записки Генриха де Ломени, графа Бриеннского, государственного секретаря в царствование Людовика XVI».

В этих записках менее всего и менее всех на виду выказывается писавший оные. Он не имеет болтливости себялюбия, свойственной составителям записок и автобиографий. С высоты почестей, успехов и силы при дворе и в обществе сей любимец счастья кончает жизнь в темнице

св. Лазаря после 10-летнего заточения; и в записках его ничто не разъясняет причин крутого переворота в судьбе его.

Впрочем, записки занимательны живостью рассказа. Но нигде в рассказе не обозначается глубокости ума в наблюдениях; не видно в нем и государственного человека.

Много любопытного о Мазарини: кончина кардинала, драматическая сцена, яркими и живыми красками раскрашенная. Недогадливый министр волочился за знаменитой девицей Лавальер, не примечая, что имеет при ней соперником Людовика XVI. Когда догадался, пошел с объяснениями к королю, разнежился и расплакался, то есть просто струсил. Людовик принял слезы за выражение сильной любви и, разумеется, еще более разгневался. Но автор утверждает, что Мазарини расплакался только потому, что у него есть *природная влажность в глазах и в мозгу*.

К этим запискам приложено введение от издателя Барриера: опыт о нравах и обычаях XVII века. Любопытная смесь всякого рода безобразий и бесчинств хваленого, но, впрочем, во многих отношениях славного века. Вот несколько извлечений из этого введения.

Во время осады Турина графом д'Аркуром город страдал от голода. Испанцы всячески старались, но напрасно, пробиться сквозь французские линии, чтобы подать помощь осажденным. По распоряжению главного начальника, испанцы стали начинять бомбы мукой и пускали их в город через французский стан. Между прочими бомбами нашли одну с жирными перепелками и запиской, которую испанский офицер отправил любовнице своей в Турин. Вот замысловатый и новый способ любовной почтовой переписки.

Граф Вилла-Медина, в Мадриде, был влюблен в Елисавету, французскую принцессу замужем за Филиппом IV. Желая видеть ее в своем доме, он устроил великолепный праздник, на который был приглашен и двор. Вместе с праздником устроил граф и пожар. Во время пышного зрелища, которое поглощало общее внимание зрителей, дом загорается. В одну минуту всё объято пламенем, все богатства, украшения, картины и т.д. Улучив время, когда каждый бежал, угрожаемый опасностью, Медина, следящий за каждым движением королевы, выхватывает ее из толпы в свои объятия и уносит сквозь пламень, покупая таким образом ценой фортуны своей счастье прижать на минуту королеву к груди.

Когда назначали маршалу д'Юкселю голубую ленту, он говорил, что отказывается от сей блестящей почести, если она должна лишить его права ходить в кабак.

Герцог де ла Ферте воевал под начальством маршала Катины в Савойе. Войска принуждены были довольствоваться скверным туземным вином. Несмотря на то, герцог потреблял его всегда через меру. Спросили его однажды, как может он пить такое вино и особенно же в таком количестве. «Что же делать, – отвечал он, – надобно уметь любить друзей своих и с их погрешностями». Это напоминает, как однажды Толстой-Американец писал из Тамбова: «За неимением хороших сливок, пью чай с дурным ромом».

* * *

Генерал Александр Ламет, товарищ Лафайета и одно из главных действующих лиц в событиях первой Французской революции, рассказывает в записках своих следующее: «У сестры Мирабо назначено было свидание между первенствующими лицами Народного Собрания для

переговоров о соглашении и примирении умов, ввиду предстоящих обстоятельств. Мирабо рассказал тут всё, что происходило при избрании его в Провансе в число депутатов. В рассказе своем ничего не утаил он из мер, принятых им для достижения успеха; даже признался, что, имея в руках своих народного оратора, который казался ему преданным, но в котором, однако же, не мог он быть совершенно уверен, он приставил к нему соглядатая, который

не должен был отходить от него и заколоть его, если как-нибудь изменил бы он своим обязательствам.

Мы все ужаснулись подобному признанию, а Мирабо удивился нашему ужасу.

– Как, и тот убил бы его?! – спросили мы.

– Да убил бы, как убивают, – хладнокровно отвечал Мирабо.

– Но это было бы ужасное злодейство.

– О, в революциях, – возразил он изречением, которое после того сделалось столь известным, – малая мораль убивает большую (*La petite morale tue la grande*)».

* * *

Мирабо, прозванный Мирабо-бочка, был человек очень нетрезвый. Старший брат делал ему однажды упреки за эту слабость. «Помилуйте, на что вы жалуетесь? – отвечал он смеясь. – Изю всех возможных пороков, которые семейство наше присвоило себе, один этот оставили вы на долю мою».

* * *

Ломоносов два раза в одах своих говорит о *багряной руке зари*. Первый раз в Оде шестой:

*И се уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря.*

Другой раз в Оде девятой:

*Заря багряною рукою,
От утренних спокойных вод,
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.*

Ломоносова заря хороша, хотя русская заря не имеет нежности и прелести греческой Авроры с розовыми пальцами.

В Оде десятой:

*Когда заря багряным оком
Румянцем умножает роз.*

Багряное око — никуда не годится. Оно, вовсе непоэтически, означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача.

У Ломоносова в одах много найдется намеков и подробностей исторических, географических, политических и относящихся до науки. В нем виден более академик, нежели поэт. Но и поэт нередко прорывается в стихах твердых, звучных и живописных. Вот пример политической или *газетной* поэзии, из Оды пятнадцатой:

*Парящий слыша шум орлицы,
Где пышный дух твой, Фридерик?
Прогнанный за свои границы,
Еще ли мнишь, что ты велик?
Еще ль, смотря на рок Саксонов,*

*Всеобщим дателем законов
Слынешь в желании своем! и пр.*

Или Ода семнадцатая:

*Голстиния, возвеселися,
Что от тебя цветет наш крин.
Ты к морю в празднестве стремися,
Цветущий славою Цвейтин.
Хотя не силен ты водою,
Но радостью сравнись с Невою, и пр.*

Вот вам и география. И вот еще она же:

*Российского пространства света
Собрав на малы чертежи,
И грады, оною спасенны,
И села, ею же блаженны,
География, покажи.*

(Ода 10-я)

Как хороши и поныне и как поэтически верны следующие два стиха из Оды десятой:

*В середине жаждающего лета,
Когда томит протяжный день...*

Выражения *жаждущее лето* и *протяжный день* так и переносят читателя в знойный июльский день.

Ломоносова, как вообще и всякого поэта не нашего времени, нельзя читать с требованиями и условиями нам современными. Ломоносов писал торжественные оды потому, что в его время все более или менее писали стихи на торжественные случаи. Нельзя ставить ему в вину некоторые приемы, как нельзя смеяться над тем, что он ходил не во фраке, не в панталонах, а во французском кафтане, коротких штанах, с напудренной головой и с кошельком на затылке.

Он всегда с особенным одушевлением говорит о Елизавете. Называя ее *Елисаеет*, он как будто угадал выражение принца де Линя, который сказал позже: «Екатерина *Великий*». Нелединский, знаток в любви, убежден, что кроме верноподданнического чувства в душе Ломоносова было еще и более нежное, поэтическое чувство.

*Когда бы древни веки знали
Твою щедроту с красотой,
Тогда бы жертвой почитали
Прекрасный в храме образ твой.*

(Ода 2-я)

*Тебя, богиня, возвышают
Души и тела красоты;
Что в многих, разделясь, блистают
Единая все имеешь ты.*

(Ода 9-я)

*Коль часто доли оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Зверей чрез трубный глас из нор!
Ей ветры вслед не успевают.
Коню бежать не воспрящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь;
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь.*

(Ода 10-я)

В последнем стихе есть, и в самом деле, какое-то страстное одушевление.
В одной из своих од он говорит о Елисавете:

*Небесного очами света
На сродное им небо зрит.*

В другой:

*Щедрот источник, ангел мира,
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнце тихих дней венец;
О, мыслей наших рай прекрасный,
Небес безмрачных образ ясный,
Где видим кроткую весну,
В лице, в очах, в устах и нраве!*

Вот строфа, согретая чувством гражданства:

*Священны да хранят уставы
И правду на суде судьбы;
И время твоея державы
Да ублажат рабы твои.
Соседи да блюдут союзы... и пр.*

(Ода 9-я)

*Услышьте судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.*

*Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготы;
То Бог благословит ваш дом.*

Это строфа из «Оды на день восшествия на престол Екатерины II». Здесь как будто уже слышится Державин.

У Ломоносова встречаются странные выражения и понятия; например, он заставляет Ветхого Денми³ говорить:

*Я в гневе Россам был творец,
Но ныне паки им отец.*

Вообще кажется по крайней мере неприличным подсказывать Божеству свои собственные мысли и слова. А нередко поэты грешат этой неприличностью.

И Марс вложи свой шумный меч.

Прилагательное *шумный* вовсе не идет к *мечу*.

И полк всех нежностей теснится.

Полк и нежности также не ладят между собой.

Пучина преклонила волны.

Странно, но вместе с тем смело и поэтически.

*О Боже крепкий, Вседержитель,
Пределов Росских расширитель.*

Это также странно и смело, но уже вовсе не поэтически и неблагоприлично. Далее говорит он:

Как ныне Россию расширил,

а после:

*Возри, коль широка Россия —
От всех полей и рек широких.*

Взывая к Богу, поэт говорит:

*По имени Петровой дщери,
Военны запечатой двери.*

Здесь отзывается какое-то полицейское действие.

³ Образ Бога-отца в виде седовласого старца – из книги пророка Даниила. – *Прим. ред.*

*Моей державы кротка мочь
Отвергнет смертной казни ночь.*

*Когда пучину не смущает
Стремление насильных бурь,
В зеркале жидком представляет
Небесной ясности лазурь.*

Не забывал профессор-поэт и метеорологических наблюдений:

*Наука легких метеоров,
Премени неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя
И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды,
С богатством дальним шли народы
К Елисаветинским брегам.*

Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться во вдохновение, навеваемое на него природой и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:

*О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.*

Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и в академических победах своих над Миллером и другими немцами.

Разумеется, так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не нужно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.

В письме своем о правилах российского стихотворения Ломоносов говорит:

«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре, под видом некоторой женщины, что, сгорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипиче Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не только бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».

Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными?

В статье «Жизнь Ломоносова», которая напечатана в «Полном собрании» сочинений его, изданном изданием Императорской Академии наук в 1784 году, биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи

Великому Петру и Елисавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги («Риторику», «Российскую Грамматику», «Руководство к горному строению и заводам», «Российскую Историю»), простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Всё то не суть анекдоты, а труды повсюду известные». Далее, говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А.П.Сумароков, невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.

Говорят, что когда, преследуя французов, вышедших из Москвы, Кутузов вступил в Вильну, то городская депутация поляков явилась к нему и бросилась на колени, прося пощады. «Встаньте, встаньте, господа! – сказал им князь Смоленский. – Вспомните, что вы снова сделались русскими!»

Во время отступления французов Кутузов часто говаривал: «Надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю». Многие были противного мнения и говорили, что лучше топить и уничтожать неприятеля, нежели вежливо и с почестью провожать его. Кутузов, хотя и начал свое военное поприще под начальством Суворова, не был полководцем, принадлежащим к Суворовской школе. Быстрота, натиск, молодечество штыка не были в привычках его⁴. Как ни суди о степени воинских способностей его, должно признаться, что так или иначе имя его навсегда сопряжено с событиями изгнания неприятеля из России и, следовательно, ее освобождения и спасения. Нельзя же согласиться с французами и с некоторыми из наших недоброжелателей Кутузова, что один *генерал*

Мороз уничтожил французское войско. Мороз был тут, конечно, не лишний, но Кутузов немало способствовал его заморозению.

* * *

Князь Долгорукий, военный и дипломат, участвовавший в войне 1812 года и известный своими каламбурами, уже предсказывал, когда взят был в плен генерал Лепелетье, что французы погибнут от холода, потому что лишились генерального скорняка (*pelletier* по-французски – скорняк, меховщик). После Тарутинского сражения он же выдумал за Наполеона слова, будто им сказанные Кутузову: «Твоя толковость сбילה меня с толку».

Польский генерал Рожнецкий рассказывал, что в 1812 году около Гжатска поймали и допрашивали о какой-то дороге крестьянина. *He знаю* было единственным ответом его, несмотря на угрозы, побои и обещания награды. Вот безымянный герой в истории 1812 года. Эта твердость, это упорство поразили Наполеона и окружающих его. Но Наполеон не хотел

⁴ Известно, что император Александр не очень благоволил к Кутузову: назначив его в 1812 году главнокомандующим, сделал он уступку общественному мнению. В войне, в самом сердце России, и в войне, сделавшейся народной, нужно было в русском имени выставить русское знамя. Барклай и Беннигсен могли предводительствовать русскими войсками в Германии или в другой земле; но на русской почве был необходим русский плотью, кровью и духом. – *Прим. авт.*

показать свое впечатление и разбил допрашивающих, упрекая их в том, что они не умеют хорошо объясниться с крестьянином по-русски.

* * *

Князь Сапега говорит, что мы живем в век конституции, филантропии и скуки.

* * *

В разговоре о Польше и о способах управлять поляками NN сказал: «С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Подавайте руку поляку вежливо и ласково, но вместе с тем слегка прижмите ее так, чтобы он мог догадаться о силе вашей. Полякам некогда быть благодарными: они легко или падают духом, или увлекаются энтузиазмом, хотя часто не по разуму. Главное дело: их заговорить и охмелить». Так поступал с ними и Наполеон. Он никогда не думал вернуть им политическую независимость, а только в лстивых словах обольщал их легковверный патриотизм этой независимостью, и они лезли за него в огонь и тысячами погибали.

Наполеон в царствование свое надоел иным французам, как они ни легкомысленны, и был даже в тягость некоторым из своих приближенных и благодетельствованных им людей. Поляк же никогда не был разуверен и разочарован в отношении к Наполеону. Один поляк говорил очень серьезно, что Наполеон безрассудно вверил себя великодушию англичан: «Одни мы умели бы отстоять его, если бы прибег он к нам». И точно, Польша дала бы себя разругать на куски и пролила бы до последней капли кровь свою, но не изменила бы Наполеону.

* * *

Граф Остерман сказал, кажется, маркизу Паулучи в 1812 году: «Для вас Россия – мундир ваш: вы его надели и снимите его, когда хотите. Для меня Россия – кожа моя».

* * *

У. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами.

– Они были очень невежливы, – говорил он, – и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание. Они отвечали мне: «Зачем эти сказки; ну похож ли ты на генерала?»

– Что же, – перебил его Пушкин, – начинало уже рассветать?

– Да, немножко, – отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование.

* * *

Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодотворно и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву императора Александра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, – отвечает он, – назвал ко мне завтра обедать, чтобы рассказать,

как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь».

Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? – перебил речь тот же Апраксин. – Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.

Его же спрашивали о некотором лице, известном привычкой украшать свои рассказы красным словом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только открылись в Петербурге. «Нет, – отвечал он, – еду, чтобы снять поставку лжи на всю Россию».

* * *

Козодавлев, будучи министром внутренних дел, очень заботился о развитии русской промышленности и о замене иностранных произведений своими, домашними. В газете «Северная Почта», издаваемой при министерстве и при личном наблюдении и участии самого министра, часто и много толковали о кунжутном масле. Когда Козодавлев умер, NN спрашивал: «Правда ли, что его соборовали кунжутным маслом?»

* * *

Великий князь Константин Павлович всегда отличал графиню Розалию Ржевускую, по красоте и по уму очень достойную его внимания. Цесаревич любил шутить над ее клерикальностью и часто обращался к ней со священными текстами. Однажды на бале она указала великому князю на одну даму, называя ее красавицей. «Вот что значит христианское смирение, – отвечал он ей. – Вы видите сучок в глазу у ближнего, а в своем бревна не замечаете».

* * *

Князь Юсупов (старик Николай Борисович) трунил над графом Аркадием Марковым по поводу старости его. Тот отвечал ему, что они одних лет.

– Помилуй, – продолжал князь, – ты был уже на службе, а я находился еще в школе.

– Да чем же я виноват, – возразил Марков, – что родители твои так поздно начали тебя грамоте учить.

* * *

У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», – отвечал он.

* * *

Дидеро витийствовал и гремел в кабинете императрицы Екатерины против льстецов, отсылая их прямо в ад. Екатерина переменяла разговор. Спустя несколько времени спрашивает она у него: «Что говорят в Париже о последнем политическом перевороте, происходившем в России?» Дидеро запинаясь, отделяется общими выражениями, упоминает о случайностях государственной необходимости и т.д. Екатерина, улыбаясь, говорит ему: «Берегитесь, господин Дидеро. Если не прямо в ад, то по крайней мере идете вы в чистилище».

Екатерина долго и с жаром говорила о достоинствах Сюлли и о счастье государя, который имел подобного министра. «Найдись другой Генрих, сыщется другой Сюлли», – будто бы сказал на это Панин. (Но это невероятно, и ответ только приписан был Панину; и во всяком случае не графу Никите, а графу Петру Ивановичу Панину. Вообще, нужно с большой осторожностью доверять этим историческим изречениям, появляющимся задним числом.)

* * *

Бирон, как известно, был большой охотник до лошадей. Граф Остейн, венский посол при петербургском дворе, сказал о нем: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях – как лошадь».

* * *

Суворов писал князю Потемкину в 1790 году: «Истинная слава не может быть довольно оценена: она есть следствие жертвования собой в пользу общего блага».

* * *

В одно из своих странствований по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня очень приличной наружности. Она говорит ему, что, узнав случайно о проезде великого нашего поэта, не могла удержаться от желания познакомиться с ним, и отпускает различные приветствия, похвальные и восторженные.

Пушкин слушает их с удовольствием и сам с ней любезничает. На прощанье барышня подает ему вязанный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданной их встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску; но не успеваешь он еще выехать из селения, как догоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит Пушкину, что барышня просит его заплатить ей десять рублей за купленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь звонким смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования.

* * *

Карамзин рассказывал, как кто-то из малознакомых ему людей позвал его к себе обедать. Он явился на приглашение. Хозяин и хозяйка приняли его очень вежливо и почтительно и тотчас же сами вышли из комнаты, где оставили его одного. В комнате на столе лежало несколько книг. Спустя 10 минут или четверть часа являются хозяева и просят его в столовую. Удивленный таким приемом, Карамзин спрашивает их, зачем они оставили его? «Помилуйте, мы знаем, что вы любите заниматься, и не хотели помешать вам в чтении, нарочно приготовили для вас несколько книг».

* * *

Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему, заставлял его за письменным столом с пером в руках. «Что это вы пишете? – часто спрашивал он. – Нынче, кажется, не почтовый день».

* * *

Кто-то однажды навестил графа Ланжерона: он сидел в своем кабинете с пером в руках и писал отрывисто, с размахом, как многие подписывают имя свое в конце письма. После каждого подобного движения повторял он на своем ломаном русском языке: «Нье будет, нье будет!»

Что же оказалось? Он пробовал, как бы подписывал фельдмаршал граф Ланжерон, если когда-нибудь пожалован бы он был в фельдмаршалы, и вместе с тем чувствуя, что никогда фельдмаршалом ему не бывать.

Он был очень рассеян и часто от рассеянности мыслил вслух в присутствии других, что подавало повод к разным комическим сценам. К. обедал у него в Одессе во время его генерал-губернаторства. Общество преимущественно составляли иностранные негодянты. За обедом выхвалял граф удовольствия одесской жизни и, указывая на негодянтов, сказал, что с такими образованными людьми можно приятно провести время. На беду его, в то время был он особенно озабочен просьбой о прибавке ему столовых денег. «А не дадут мне прибавки, я этим господам и этого не дам!» – стал мыслить он вслух и схватил с тарелки своей косточку, оставшуюся от котлетки.

В приезд императора Александра в Одессу был приготовлен для него дом, занимаемый Ланжероном. Встретив государя и проводив его до кабинета, после разговора, продолжавшегося несколько минут, граф откланялся, вышел из кабинета и по привычке своей запер дверь на ключ. Государь оставался несколько времени взаперти, но наконец достучался, и освободили его от заточения.

Ланжерон был умный и вообще довольно деятельный человек, но ужасно не любил заниматься канцелярскими бумагами. Когда являлись к нему чиновники с докладами, случалось, он от них прятался, выходил из дому какими-нибудь задними дверями и пропадал на несколько часов.

Кажется, граф Каменский (молодой) во время Турецкой войны объяснял ему свои планы будущих военных действий. Как нарочно, на столе лежал журнал «Французский Меркурий». Ланжерон машинально раскрыл его и попал на шараду, в журнале напечатанную. Продолжая слушать изложение военных действий, он невольно занялся разгадыванием шарады. Вдруг, перебивая речь Каменского, вскрикнул он: «Что за глупость!» Можно представить себе удивление Каменского; но вскоре дело выяснилось, когда он узнал, что восклицание Ланжерона относилось к глупой шараде, которую тот разгадал.

В другой раз, чуть ли не на заседании какого-то военного совета, заметил он собачку под столом, вокруг коего сидели присутствующие. Сначала, неприметно для других, стал граф движением пальцев призывать к себе эту собачку. Она подошла, он начал ее ласкать и вдруг, причмокивая, обратился к ней с ласковыми словами.

Разумеется, все эти выходки не вредили Ланжерону, а только забавляли и смешили зрителей и слушателей, которые уважали в нем хорошего человека и храброго генерала. В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание: «Ви пороху нье боитесь, но затьо ви его нье видумали».

Однажды во время своего градоначальства в Одессе был он недоволен русскими купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. Вот начало его речи: «Какой ви негодянт, ви маркитант; какой ви купец, ви овец!» – и движением руки своей изобразил козлиную бороду.

Однажды за обедом у императора Александра сидел он между генералами Уваровым и Милорадовичем, которые очень горячо разговаривали между собой. Государь обратился к Ланжерону с вопросом, о чем идет их живая речь. «Извините, государь, – отвечал граф, – я их

не понимаю: они говорят по-французски». Известно, что Уваров и Милорадович отличались своей несчастной любовью к французскому языку.

В молодости своей Ланжерон писал трагедии, как и все мало-мальски грамотные люди во Франции: у французов тогда была мода на трагедии, как у нас в то же время – на торжественные оды. В начале Французской революции 1789 года участвовал он в журнале «Les actes des Arotres», издаваемом, разумеется, в духе монархическом и в защиту королевской власти. Сотрудниками журнала были очень умные и остроумные люди, так что журнал часто удачно соперничал с оппозиционными периодическими изданиями. В Одессе Ланжерон дал Пушкину трагедии свои на прочтение. Кажется, Пушкин их не прочел и, спустя несколько времени, на вопрос

Ланжерона, которая из трагедий более ему нравится, отвечал наугад, именуя заглавие одной из них. В ней выведен был республиканец.

* * *

- За что многие не любят тебя? – кто-то спрашивал Ф. И. Киселева.
- За что же всем любить меня? – отвечал он. – Ведь я не золотой империял.

* * *

Граф Толстой, известный под прозвищем Американец, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегаёт за каламбурами.

Однажды заходит он к старой своей тетке.

– Как ты кстати пришел, – говорит она, – подпишись свидетелем на этой бумаге.

– Охотно, тетушка, – отвечает он и пишет: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». (Гербовый лист стоил несколько сот рублей.)

Какой-то родственник его, ума ограниченного и скучный, всё добивался, чтобы граф познакомил его с Денисом Давыдовым. Толстой под разными предлогами откладывал представление. Наконец однажды, чтобы разом отделаться от скуки, предлагает он родственнику подвести его к Давыдову.

– Нет, – отвечает тот, – сегодня неловко: я лишнее выпил, у меня немножко в голове.

– Тем лучше, – говорит Толстой, – тут-то и представляться к Давыдову. – Берет его за руку и подводит к Денису, говоря: – Представляю тебе моего племянника, у которого немного в голове.

Князь *** должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошел, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства».

За дуэль или какую-то проказу был посажен граф в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени показалось ему, что срок содержания его в крепости миновал, и начал он рапортами и письмами бомбардировать начальство, то с просьбой, то с жалобой, то с упреками. Это наконец надоело коменданту крепости, и он прислал строгое предписание и выговор с приказанием не осмеливаться впредь докучать начальству пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту офицерскую бумагу, где-то совершенно неуместно поставил вопросительный знак. Толстой обеими руками так и схватился за этот неожиданный знак препинания и снова принялся за перо. «Перечитывая (пишет он коменданту) несколько раз с должным вниманием и с покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я

в нем вопросительный знак, на который вменяю себе в неперемную обязанность отвечать». И тут же стал снова излагать свои доводы, жалобы и требования.

Шепелев (генерал Дмитрий Дмитриевич) говорит всегда несколько высокопарно. Однажды сказал он Толстому:

– Послушайся, голубчик, моего совета: если у тебя будет сын, учи его непременно гидравлике.

– Почему же именно гидравлике? – спрашивает Толстой.

– А вот почему. Мы, например, гуляем с тобой в деревне твоей, подходим к ручью, я беру тебя за руку и говорю: «Толстой, дай мне 100 тысяч рублей...»

– Нет, – с живостью прерывает его граф, – подведи меня хоть к морю, так не дам.

– Не в том дело, – продолжает Шепелев, – я увидел, что на этой речке можно построить мельницу или фабрику, которая должна дать до 20 и 30 тысяч рублей ежегодного дохода.

Когда появились первые восемь томов «Истории Государства Российского», Толстой прочел их одним духом и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал, какое значение имеет слово *Отечество*, и получил сознание, что у него это Отечество есть. Впрочем, недостаток этого сознания не помешал ему в 1812 году оставить Калужскую деревню, в которую сослан он был на житье, и явиться на Бородинское поле: тут надел он солдатскую шинель, ходил с рядовыми в бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени.

* * *

Князь Чарторижский (старик, в конце прошлого столетия) распустил по Варшаве слух, что приехал знаменитый гадатель, обладающий удивительным дарованием узнавать прошедшее и угадывать будущее; что остановился он в Пражском предместье, в таком-то доме и в такие-то часы принимает посетителей. В эти часы отправлялся князь сам в назначенное место, переряжался и в темной комнате давал свои аудиенции. Разумеется, всё общество хлынуло к нему, и в особенности дамы. Он знал всех жителей варшавских, более или менее все их действия, желания и помыслы, а потому и легко было ему удивлять всех своим чудесным всеведением. Между тем узнал князь и многие новые тайны, которые перед ним обнаружили и невольно были высказаны. И жена его попала в эту сеть. Может быть, и она проговорилась, и всеведущий маг узнал иное, чего не знал. Вот хороший сюжет для повести или для оперетки.

* * *

Канцлер Румянцев когда-то сказал, что Наполеон не лишен какого-то простодушия. Все смеялись над этим мнением и приписывали его недалёковидности ума Румянцева. А может быть, он был и прав. В частных сношениях Наполеона с приближенными и подчиненными ему людьми была некоторая простота, как оказывается из многих рассказов и отзывов. К тому же, по горячности своей, он был нередко нескромен и проговаривался.

Н.Н.Новосильцев рассказывал, что за столом у государя Румянцев, по возвращении своем из Парижа, сказал следующее: «В одном из моих разговоров с Наполеоном осмелился я однажды заметить ему: “Неужели, государь, при достижении подобного величия и высоты, не подумали вы, что, сколько вы ни всемогущи, но закон природы падет и на вас? Избрали ли вы достойного себе наследника и преемника вашей славы?” “Поверите ли, граф, – отвечал Наполеон, ударяя себя по лбу, – что мне это и в голову не приходило! Благодарю. Вы меня надушили”».

Оставляю на произвол каждого решить, не солгал ли тут кто-нибудь из трех; а на правду что-то не похоже.

* * *

Князь Дашков, сын знаменитой матери, имел, говорят, в обращении и в приемах своих что-то барское и отменно-вежливое, что, впрочем, и бывает истинным признаком человека благородного и образованного. В доказательство этих качеств князя Дашкова В.Л.Пушкин приводит следующий случай.

Он, то есть Пушкин, и зять его Солнцев были коротко знакомы с князем и могли обедать у него запросто. Однажды заезжают они к нему в час обеда и застают всё отборное московское общество, всех сановников и всех наличных Андреевских кавалеров. Увидев, что на этот раз приехали они невпопад, уезжают домой. Неделью спустя получают они от князя приглашение на обед, приезжают и находят то же общество, которое застали в тот день.

* * *

В 1809 или 1810 году приезжал в Москву Бог знает откуда какой-то чужак, который выдавал себя за барона Жерамба, носил черный гусарский мундир и вместо звезды на груди – серебряную мертвую голову. Он уверял, что этот мундир и эта голова были присвоены полку, который он поставил на своем иждивении в Австрии во время войны. Всё это казалось очень баснословно, но сам он был очень мил и любезен и хорошо принят в лучших московских домах.

Сначала жил барон очень широко, разъезжал по Москве в шегольской карете цугом, играл в карты, проигрывая довольно значительные суммы, и т.п. Наконец денежные средства его, по-видимому, истощились. В подобной крайности написал он княгине Дашковой письмо такого содержания: что видел он Родосский колосс, Египетские пирамиды и подобные тому чудеса и не умрет спокойно, если не удостоится увидеть княгиню Дашкову. Старушка была тронута этим лестным приветом и пригласила его к себе. В первое же свое посещение попросил барон у княгини дать ему займы 25 тысяч рублей. Княгиня, разумеется, не дала, и знакомство их на этом и кончилось.

Когда русские войска вступили в Париж, многие офицеры, знавшие Жерамба в России, нашли его в Париже траппистом под именем отца Жерамба. Он, кажется, несколько был известен и литературными произведениями. Во время пребывания своего в Москве обратил он сердечное внимание свое на одну девицу и, не смея ей в том признаться, написал в альбом ее брата: «Я бы вас обожал, если бы вы были вашей сестрой».

* * *

Говоря о некоторых блестящих счастливицах, NN сказал: «От них так и несет ничтожеством».

* * *

Князь Голицын прозван *Jean de Paris* (название современной оперы), потому что в Париже, во время пребывания наших войск, он выиграл в одном игорном доме миллион франков и, спустя несколько дней, проиграл их так, что не с чем было ему выехать из Парижа.

Он большой чужак и находится на службе при великом князе в Варшаве в должности – как бы сказать? – забавника. И в самом деле, он очень забавен при какой-то сановитости в постановке и кудреватости в речах. Надобно прибавить, что он от природы всегда был немного

трусоват. Однажды ехал он в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть. Это Голицыну не очень нравилось.

– Осмелюсь заметить, – сказал он, – и доложить вашему императорскому высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, то от вашего императорского высочества может остаться только одна надпись на гробнице: «Здесь лежит тело Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Павловича».

– А Михель? – спросил великий князь (Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя).

– Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего императорского высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего императорского высочества, то и Михель его императорского высочества бояться не будет».

В другой раз говорил он великому князю: «Вот, кажется, ваше высочество, и несколько привыкли ко мне, и жалуете, и удостаиваете меня своим милостивым благорасположением, но всё это ненадежно. Пришла бы на ум государю мысль сказать вам: “Мне хотелось бы съесть Голицына”, – вы только бы и спросили: “А на каком соусе прикажете изготовить его?”».

Однажды захотелось князю получить прибавку к содержанию, казенную квартиру и еще что-то подобное в этом роде. Передал он свои пожелания генералу Куруте. Тот имел привычку никогда и никому ни в чем не отказывать. «Очень хорошо, *mon cher*, — сказал он Голицыну, – в первый раз, что мы с вами встретимся у великого князя, я при вас же ему о том доложу». Так и случилось. Начался между великим князем и Курутой, как и обыкновенно бывало, разговор на греческом языке. Голицын слышит, что несколько раз было упоминаемо имя его. Слышит он также, что на предложения Куруты великий князь не раз отвечал: «Калос». Все принадлежащие варшавскому двору довольно были сведущи в греческом языке, чтобы знать, что слово *калос* значит по-русски *хорошо*. Голицын в восхищении.

При выходе из кабинета великого князя Голицын только что собирался изъяснить свою глубочайшую благодарность Куруте, тот с печальным лицом объявляет ему: «Сожалею, *mon cher*, не удалось мне удовлетворить вашему желанию; но великий князь во всем вам отказывает и приказал мне сказать вам, чтобы вы впредь не осмеливались обращаться к нему с такими пустыми просьбами».

Что же оказалось после? Курута, докладывая о ходатайстве Голицына, прибавлял от себя по каждому предмету, что, по его мнению, Голицын не имеет никакого права на подобную милость; а в конце заключил, что следовало бы запретить Голицыну повторять свои домогательства. На всё это великий князь и изъяснял свое совершенное согласие.

Надобно видеть и слышать, с каким драматическим и мимическим искусством Голицын передает эту сцену, которой искусный комический писатель мог бы воспользоваться с успехом.

* * *

На довольно многолюдном вечере у варшавского коменданта Левицкого Н.Н.Новосильцев имел неприятную стычку с одним из адъютантов великого князя. Сгоряча дал он ему почувствовать, что власть, которой он официально уполномочен, может простираться и на этого адъютанта.

Разумеется, происшедшее было доведено до сведения цесаревича, который остался очень недоволен. Пошли переговоры, Новосильцев был не прочь и от поединка, но дело обошлось миролюбиво, хотя, может быть, и более неприятным для Новосильцева образом. Вследствие посредничества со стороны цесаревича Новосильцев должен был сказать несколько извинительных слов адъютанту в том же доме и перед тем же обществом, которое было свидетелем стычки. Так и случилось. С этой поры политическое и нравственное значение Новосильцева в

Варшаве было несколько потрясено, из независимого положения перешел он в другое, которое подчинило независимость его постороннему влиянию.

Спрашивали у Васеньки Апраксина, одного из зрителей этой примирительной сцены, как обошлось всё дело. «Очень хорошо, – отвечал он. – Байков (старший и ближайший к Новосильцеву чиновник) ввел его в комнату и сказал ему: “Сын Святого Людовика, посмотри на солнце”». Известно, что эти слова были сказаны духовником несчастного Людовика XVI, когда он всходил на эшафот. Замечательна находчивость Апраксина в подобных случаях. Он не знал истории, ничего никогда не читал, вероятно, как-то мельком слышал про это изречение и тут же применил его так метко, остроумно и забавно.

Кроме самовыращенного дарования на острые слова Апраксин имеет еще и другие таланты. Никогда не учась музыке, поет он прекрасно и разыгрывает на клавинофордах лучшие места из слышанных им опер. Никогда не учась рисованию, он мастерски владеет карандашом и пишет прекрасные карикатуры. У генерала Синягина есть большой альбом, Апраксиным исписанный: в смешных и метких изображениях проходит тут всё петербургское общество. Со временем этот альбом может сделаться исторической достопамятностью.

* * *

В дневнике NN записано: «Мое дело не действие, а впечатлительная осязательность; меня хорошо бы держать как термометр: он не может ни нагреть, ни освежить, но ничто скорее и вернее его не почувствует и не укажет настоящую температуру. Часто замечал я за собой при событиях, что поражали меня иные признаки и свойства, которые ускользали от внимания других».

* * *

Многое можно в прошлой истории нашей объяснить тем, что русский, то есть Петр Великий, силился сделать из нас немцев, а немка, то есть Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими.

* * *

Я желал бы славы себе, но не для себя, а чтобы озарить ею могилу отца и колыбель сына.

* * *

Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит:

– Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: на Бога надейся, а сам не плошай.

– Нет уж, извините, – вскочил со стула и, подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий. – Этого, милостивая государыня, в Евангелии нет.

И он возвратился на свое место.

* * *

В старой Москве жила один Левашов, очень образованный, приятного обхождения, славившийся актерским искусством своим в домашних театрах, но, по несчастию, донельзя пристрастный к пиву. Говорят, что он перед концом своим выпивал его по несколько десятков бутылок в сутки.

Дмитриев, который был с ним в приятельских отношениях, рассказывал, что в коротких ему домах Левашов этот не стеснялся, но все-таки немного совестился частых требований любимого своего напитка; а потому и выражал свои требования разнообразными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил вполголоса, то мельком и как будто незаметно в общем разговоре. Дмитриев применяет эти различные интонации к Василию Львовичу Пушкину, большому охотнику твердить и повторять свои стихи. «И он, – замечает Дмитриев, – то восторженно прочтет свое стихотворение, то несколькими тонами понизит чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои как будто случайно».

* * *

В Москве до 1812 года не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли *consomme*.

На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон – по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа.

Дмитриев отказывается от бульона. Василий Львович подбегает к нему и говорит:

– Иван Иванович, да ведь это *consommel*

— Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторой досадой, – что не ромашка, а все-таки пить не хочу.

Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя света он не любил и никогда не ездил на вечерние многолюдные собрания.

* * *

Проходило какое-то торжественное празднество в Кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников. А.Л.Нарышкин подходит к великому князю и говорит:

– У меня тоже здесь свой кадет.

– Я и не знал, – отвечает великий князь, – представь мне его.

Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит:

– Вот он.

Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расфыркался и тряс своей напудренной и тщательно завитой головой⁵.

А.Л.Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Спросили у него тому причину. Нарышкин отвечал, что при-

⁵ Слово *cadet* имеет во французском языке значение и младшего брата. – Прим. ред.

чина в басне Лафонтена «Ворона и лисица». Дело в том, что у Румянцева на даче изготавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был лакомкой и начал выхвалять сыры в надежде, что Румянцев и его оделит гостинцем.

Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».

* 55

Беклешов говорил о некоторых молодых государственных преобразователях в начале царствования императора Александра I: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не удивишься. Один ходит по самому краю высокой крыши, другой – по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах».

* 55

Каким должен был быть поучительным свидетелем для императора Павла, в час венчания его на царство, гость его, развенчанный и почти пленник его, король Станислав!

Впрочем, во всем поведении императора Павла в отношении к Станиславу было много рыцарства и утонченной внимательности. Эти прекрасные и врожденные качества привлекали к Павлу любовь и преданность многих достойных людей, чуждых ласкательства и личных выгод. Они искупали частые порывы его раздражительного или, лучше сказать, раздраженного событиями нрава.

Нелединский долго по кончине его говорил о нем с теплой любовью, хотя и над ним разражались иногда молнии царского гнева. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в императорской коляске. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю:

– Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал.

– Очень поэтически сказано, – возразил с гневом государь, – но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски.

Объясняется это тем, что сие было сказано во время Французской революции, а слово *представитель*, как и круглые шляпы с кокардой, было под запретом у императора.

В эту поездку лекарь Вилье, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибочно завезен на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилье и видит перед собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилье. Но всё это случилось в добрый час. Император спрашивает лекаря, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что квартира отведена ему тут. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик ответил, что Вилье сказал про себя, что он *анператор*.

— Врешь, дурак, – смеясь, сказал ему Павел Петрович, – император – я, а он – оператор.

– Извините, батюшка, – сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, – я не знал, что вас двое. (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)

* * *

NN говорит: «Если, сходно с поговоркой, говорится, что рука руку моет, то едва ли не чаще приходится сказать: рука руку марает».

⁵ Слово *cadet* имеет во французском языке значение и младшего брата. – Прим. ред.

⁵ Слово *cadet* имеет во французском языке значение и младшего брата. – Прим. ред.

⁵ Слово *cadet* имеет во французском языке значение и младшего брата. – Прим. ред.

⁵ Слово *cadet* имеет во французском языке значение и младшего брата. – Прим. ред.

* * *

При Павлове (Николае Филипповиче) говорили об общественных делах и о том, что не следует разглашать их недостатки и погрешности.

– Сору из избы выносить не должно, – заметил кто-то.

– Хороша же будет изба, – возразил Павлов, – если никогда из нее сору не выносить.

* * *

Похороны Ф.П.Уварова (ноябрь 1824-го) были блестящими и со всеми возможными военными почестями. Император Александр присутствовал при них, от самого начала отпевания до окончания погребения. «Славно провожает его один благодетель, – сказал Аракчеев Алексею Федоровичу Орлову, – каково-то встретит его другой?» Историческое и портретное слово.

Кажется, с этих похорон Аракчеев пригласил Орлова сесть к нему в карету, чтобы довезти его домой. «За что меня так не любят?» – спросил он Орлова. Положение было щекотливым, и ответ казался затруднителен. Наконец Орлов всё свалил на военные поселения, учреждение которых приписывалось Аракчееву и неясно понималось общественным мнением. «А если я могу доказать, – возразил с жаром Аракчеев, – что это не моя мысль, а мысль государя, а я тут только исполнитель?!» «В том-то и дело, каково исполнение», – мог бы отвечать ему Орлов, но, вероятно, не отвечал.

* * *

Стрэтфорд (знаменитый Каннинг) приезжал в Россию от имени английского правительства для переговоров по греческим делам. Был он и в Москве на самую Пасху. Гуляя по Подновинскому*, заметил он, что у нас, в противность английским обычаям, полиция везде на виду. «Это нехорошо; некоторые предметы требуют себе оболочки: природа нарочно, кажется, сокрыла от глаз наших течение крови». Посетив же Московский военный госпиталь, удивился он великолепию его и всем

Гулянье у Новинского монастыря на Пасху. – *Прим. ред.*

удобствам, устроенным для больных. «Если был бы я русским солдатом, – сказал он, – то, кажется, желал бы всегда быть больным».

Каннинг очень уважает Поццо ди Борго и политическую прозорливость его. Он знал его в Константинополе: в самую пору славы и могущества Наполеона не отчаивался Поццо в низвержении его. Впрочем, и Петр Степанович Валуев, который не был никогда глубокомысленным политиком, как будто носил во чреве своем пророческое убеждение, что Наполеону несдобровать. Вскоре после рождения *Римского королька* сказал он однажды Алексею Михайловичу Пушкину:

– Не могу придумать, что сделают с этим мальчишкой.

– С каким мальчишкой?

– Наполеоновым сыном!

– Кажется, – возразил Пушкин, – пристроиться ему будет нетрудно; он наследует французский престол.

– Какой вздор! Наполеон заживо погибнет, и всё приведено будет в прежний порядок.

В прогулке говорили мы с Каннингом о великане, которого показывают в балагане и который, по замечанию врачей, должен умереть, когда перестанет расти. В тот же день за обедом

разговорились о Наполеоне; вспомнили, что он не умел довольствоваться тем, что казалось верхом счастья Фридриху. «Ничего человеку, – говаривал он, – присниться лучшего не может, как быть королем Франции». Каннинг заметил, что Наполеону новые завоевания были нужны и необходимы, чтобы удержаться на престоле. Я применил к нему замечание, сделанное мной о великане: в натуре Наполеона, может быть, была потребность или всё расти, или умереть.

Каннинг сказывал, что читал письмо Байрона, в котором он писал издателю и книгопродавцу своему: «Чтобы наказать Англию, я учусь итальянскому языку и надеюсь быть чрез несколько лет в состоянии писать на нем как на английском. На итальянском языке напишу лучшее свое произведение, и тогда Англия узнает, кого она во мне лишилась». По словам Каннинга, Байрон был человек великой души, но слабых нервов и слишком подвержен силе внешних впечатлений. Однажды спросил Каннинг поэта, когда явится в свет книга приятеля его

Гоб-Гуза⁶, путешествие его по Греции. «Гоб-Гуз, – отвечал Байрон, – одной природы со слониhoю».

О немецких переводах с древних языков, гекзаметрами, говорит он, что, как они ни верны, но – безжизненны. «Предпочтительно (продолжает он) знать поэта в младенчестве его, чем знать черты его».

Следующее тоже из разговора с Каннингом.

Еще до напечатания книги своей о посольстве в Варшаве Прадт изустно и часто упоминал о восклицании, которое влагал он в уста Наполеона: «Одним человеком менее, и я был бы властелином Вселенной». При первом свидании с Веллингтоном, после первых и лестных приветствий касательно военных действий его в Испании, Прадт в кружке слушателей, около них собравшихся, сообщил Веллингтону вышеупомянутое изречение Наполеона. Веллингтон с достоинством и смирением опустил голову, но Прадт, не дав ему времени распрямиться, с жаром продолжал: «И этот человек я». Посудите о *coup de theatre* (драматическом эффекте) и неожиданности, вызвавшейся в лице Веллингтона и других слушателей.

Вообще разговор Каннинга степенен, но приятен и разнообразен. Речь его похожа на самое лицо его: при первом впечатлении оно несколько холодно, но ясно и во всяком случае замечательно. Даже не лишено оно некоторых оттенков простодушия, если не проникать слишком глубоко. Впрочем, разумеется, он в России не показывался нараспашку; всё же должна была быть некоторая дипломатическая драпировка.

* 66

Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на *он* и *она*, а этот – *оно*».

* 66

Доклады и представления военных лиц происходили у Аракчеева очень рано, чуть ли не в шестом или седьмом часу утра. Однажды представляется ему молодой офицер, приехавший из армии и мертвенно пьяный, так что едва держится на ногах и слова выговорить не может. Аракчеев приказывает арестовать его и свести на гауптвахту, а в течение дня призывает к себе адъютанта своего князя Илью Долгорукова и говорит ему: «Знаешь ли, у меня не выходит из головы этот молодой пьяный офицер: как мог он напиться так рано и еще пред тем, чтобы

⁶ Джон Хобхауз (1786—1869) – английский государственный деятель, соученик лорда Байрона по Тринити-колледжу и попутчик в его путешествиях. – *Прим. ред.*

⁶ Джон Хобхауз (1786—1869) – английский государственный деятель, соученик лорда Байрона по Тринити-колледжу и попутчик в его путешествиях. – *Прим. ред.*

⁶ Джон Хобхауз (1786—1869) – английский государственный деятель, соученик лорда Байрона по Тринити-колледжу и попутчик в его путешествиях. – *Прим. ред.*

⁶ Джон Хобхауз (1786—1869) – английский государственный деятель, соученик лорда Байрона по Тринити-колледжу и попутчик в его путешествиях. – *Прим. ред.*

⁶ Джон Хобхауз (1786—1869) – английский государственный деятель, соученик лорда Байрона по Тринити-колледжу и попутчик в его путешествиях. – *Прим. ред.*

явиться ко мне! Тут что-нибудь да кроется. Потрудись съездить на гауптвахту и постарайся разведать, что это значит».

Молодой офицер, немного протрезвев, признается Долгорукову: «Меня в полку напугали страхом, который наводит граф Аракчеев, когда ему представляются; уверяли, что при малейшей оплошности могу погубить карьеру свою на всю жизнь. И я, который никогда водки не пью, для придачи себе бодрости, выпил залпом несколько рюмок. На воздухе меня разобрало, и я к графу явился в этом несчастном положении. Спасите меня, если можно!»

Долгоруков возвращается к Аракчееву и всё ему рассказывает. Офицера приказали тотчас выпустить из гауптвахты и пригласить на обед к графу на завтрашний день. Ясно, что офицер является в назначенный час совершенно в трезвом виде. За обедом Аракчеев обращается с ним очень ласково, а после обеда, отпуская, говорит ему: «Возвратись в свой полк и скажи товарищам своим, что Аракчеев не так страшен, как они думают». (Рассказано князем Ильей Долгоруковым.)

* * *

Какой-то шутник уверяет, что когда в придворной церкви при молитве «Отче наш» поют: «Но избави нас от лукавого», то князь Меншиков, крестясь, искоса глядит на Ермолова, а Ермолов делает то же, глядя на Меншикова.

* * *

Лукавство и хитрость очень ценятся царедворцами; но в прочем это мелкая монета ума: при одной мелкой монете ничего крупного и ценного не добудешь.

* * *

Говорят, что Растопчин писал в 1814 году жене своей: «Наконец его императорское величество милостиво согласился на увольнение мое от генерал-губернаторства в этом негодном городе».

Во всяком случае нет сомнения, что *Москва-негодница* была довольна увольнением Растопчина. При возвращении его в Москву, освобожденную от неприятеля, когда мало-помалу начали съезжаться выехавшие из нее, общественное мнение оказалось к Растопчину враждебным. В дни опасности все в восторженном настроении патриотического чувства были готовы на все возможные жертвы. Но прошла опасность, и на принесенные жертвы и на понесенные убытки стали смотреть другими глазами. Хозяева сгоревших домов начали сожалеть о них и думать, что, может быть, и не нужно было их жечь. Как бы то ни было, но разлад между Растопчиным и Москвой доходил до высшей степени. Растопчин был озлоблен неприязненным и, по мнению его, неблагодарным чувством московских жителей. Он, кажется, сохранил это озлобленное чувство до конца жизни своей.

На празднике, данном в Москве в доме Полторацкого после вступления наших войск в Париж, это недоброжелательство к Растопчину явилось в следующем случае. Когда пригласили собравшихся гостей идти в залу, где должно было происходить драматическое представление, князь Юрий Владимирович Долгоруков поспешил подать руку Маргарите Александровне Волковой и первый вошел с ней в залу. Вся публика пошла за ним. Граф Растопчин остался один в опустевшей комнате. Когда кто-то из распорядителей праздника пригласил его пойти занять приготовленное для него место, он отвечал: «Если князь Юрий Владимирович здесь хозяйни-

чает, то мне здесь и делать нечего, я сейчас уеду». Наконец, после убедительных просьб и удостоверения, что спектакль не начнется без него, уступил он и вошел в залу.

* * *

Граф Ираклий Иванович Марков, командовавший московским ополчением, носил мундир ополченца и по окончании войны. Растопчин говорил, что он воспользовался войной, чтобы не выходить из патриотического халата.

* * *

Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, то есть о чистоте русского языка, который позорят введениями иностранных слов. «Вот, например, что может быть лучше и ближе к значению своему, чем слово *дневальный*! Нет, вздумали вместо него ввести и облагородить слово *дежурный*, и выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального».

* * *

Адмирал Чичагов после Березинской передраги невзлюбил Россию, о которой, впрочем, говорят, и прежде отзывался свысока и довольно строго. Петр Иванович Полетика, встретившись с ним в Париже и прослушав его нарекания всему, что у нас делается, наконец сказал ему со своей квакерской (а при случае и язвительной) откровенностью:

– Признайтесь, однако же, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах.

– А что, например? – спросил Чичагов.

– Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России.

Чичагов был назначен членом Государственного совета, но после нескольких заседаний перестал он ездить в Совет. Доведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть впредь точнее в исполнении обязанности своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым неудовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, ваше величество, но в последнем заседании, на котором я был, – отвечал Чичагов, – шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что всё уже устроено в России и собираться Совету не для чего».

* * *

В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

*Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.*

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные.

* * *

Денис Давыдов спрашивал однажды князя К., знатока и практика в этом деле, отчего вечером охотнее пьешь вино, нежели днем. «Вечером как-то грустнее», – отвечал князь с меланхолическим выражением в лице. Давыдов находил что-то особенно поэтическое в этом ответе.

* * *

Императрица Екатерина отличалась необыкновенной тонкостью и вежливостью в обращении с людьми. Однажды на бале хотела она дать приказание дежурному камер-пажу и сделала знак рукой, чтобы позвать его к себе. Но он того не заметил, а вице-канцлер Остерман вообразил, что этот знак обращен к нему. Опираясь на свою длинную трость, поспешил он подойти. Императрица встала со своих кресел, подвела его к окну и несколько времени с ним говорила. Потом, возвратившись на свое место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. «Могла ли я поступить иначе? – продолжала императрица. – Я огорчила бы старика, давши ему почувствовать, что он ошибся; а теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении, что я в самом деле его подзывала. Он доволен, вы довольны, а следовательно, довольна и я».

В другой раз гофмаршал князь Бярятинский ошибкой вместо девицы графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингоф, о которой императрица и не думала. Увидев неожиданную гостью, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графине Паниной; графиню же Фитингоф велела внести в список лиц, приглашаемых в большие эрмитажные собрания, с тем, чтобы не могла догадаться она, что на этот раз была приглашена ошибочно.

Императрица очень любила старика Черткова. Он был неприятный и задорный игрок. Однажды, играя с ней в карты и проиграв игру, он так рассердился, что с досады бросил карты на стол. Она ни слова не сказала и, поскольку вечер уже кончился, встала, поклонилась присутствующим и ушла в свои покои. Чертков остолбенел и обмер. На другой день, в воскресенье, был обыкновенный во дворце воскресный обед. В это день обед устроили в Царскосельской колоннаде. Гофмаршал князь Бярятинский вызывал лиц, которые были назначены императрицей к собственному ее столу. Несчастный Чертков прятался и стоял в углу, ни жив ни мертв. Вдруг слышит он, что подзывают и его, и сам не верит ушам своим. Когда подошел он, императрица встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по колоннаде, не говоря ни слова. Возвратившись к столу, сказала она ему: «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердита? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять по себе никаких неприятных следов?»

Во время путешествия императрицы по Южной России она ехала в шестиместной карете. Иван Иванович Шувалов и граф Кобенцель находились с ней бессменно, а барон Сент-Элен и граф Сегюр приглашались в карету поочередно. На императрице была прекрасная шуба, покрытая бархатом. Австрийский посол похвалил ее. «Один из моих камердинеров занимается этой частью моего туалета, – сказала императрица, – он так глуп, что другой должности поручить ему не могу». Граф Сегюр, в минуту рассеяния расслышав только похвалы шубе, поспешил сказать: «Каков барин, таков и слуга». Общий взрыв смеха встретил эти слова.

За обедом в дороге граф Кобенцель всегда сидел возле нее. В тот же день императрица шутя сказала ему, что он, вероятно, начинает скучать своей постоянной соседкой. На этот раз и на Кобенцеля нашла минута рассеяния, подобная рассеянию графа Сегюра, и он отвечал,

вздыхая: «Соседей своих не выбираешь». Эта вторая выходка возбудила такой же смех, как и первая.

Наконец, в тот же день вечером императрица привлекла общее внимание каким-то интересным рассказом. Барона Сент-Элена не было в комнате. Когда он возвратился, императрица по просьбе всего общества соизволила повторить для него свой рассказ. Сент-Элен, утомленный с дороги, начал, слушая ее, зевать и скоро задремал. «Этого только недоставало, господа, чтобы довершить любезность вашу, – сказала императрица, – я вполне довольна».

Никто не мог быть величественнее императрицы во время торжественных приемов. Никто не мог быть ее приветливее, любезнее и снисходительнее в малом кругу приближенных к ней лиц. Перед тем как садиться за игру в карты, окидывала она общество взглядом, желая убедиться, что каждый пристроен. Она до того простирала внимание, что приказывала опускать шторы, когда замечала, что солнце кому-нибудь неприятно светит в глаза. Однажды играла Екатерина на бильярде с кем-то из приближенных царедворцев. В это время вошел Иван Иванович Шувалов. Императрица низко ему присела. Присутствующие сочли это насмешкой и засмеялись принужденным и угодливым смехом. Тогда императрица приняла серьезный вид и сказала: «Вот уже сорок лет, что мы друзья с господином обер-камергером, а потому нам очень извинительно шутить между собою». (Все эти подробности об императрице Екатерине собраны из рассказов графини Головиной.)

Князь Юсупов говорит, что императрица любила повторять следующую пословицу: «Не довольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым».

Князь Яков Иванович Лобанов говорит, что императрица имела особенный дар приспособлять к обстоятельствам выражение лица своего. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу, так сказать углаживала, прибирала черты свои и являлась в приемную залу со светлым и царственно приветливым лицом. Так, сказывают, было, когда она получила известие о революционном движении и кровавых событиях в Варшаве. Императрице доложили о приезде курьера. Она пошла в свой кабинет, прочла доставленные ей донесения и выслушала рассказы приезжего. Можно представить себе, как всё это ее взволновало. Она очень вспыхнула и топала ногами. Пробыв несколько времени в кабинете, возвратилась она в комнату, где оставила общество, с великим князем Константином Павловичем под руку и, смеясь, сказала: «Не осуждайте меня, что являюсь с молодым человеком». Она досидела весь вечер как ни в чем не бывало, и никто не мог догадаться, что у нее было на уме и на душе.

* * *

Князь Платон Степанович Мещерский был при Екатерине наместником в Казани, откуда приехал он с разными проектами и бумагами для представления их на благоусмотрение императрицы. Бумаги были ей отданы, и Мещерский ожидал приказания явиться к императрице для доклада. Однажды на куртаге императрица извиняется перед ним, что еще не призывала его. «Помилуйте, ваше величество, я ваш, дела ваши, губернии ваши; хоть меня и вовсе не призывайте, это совершенно от вас зависит». Наконец день назначен. Мещерский является к императрице и перед началом доклада кладет шляпу свою на столик ее, запросто подвигает стул себе и садится. Государыня сначала была несколько удивлена такой непринужденностью, но потом, разобрав его бумаги и выслушав его, осталась им очень довольна и оценила его ум.

Павел Петрович, будучи еще великим князем, полюбил Мещерского. Однажды был назначен у великого князя бал в Павловске или в Гатчине. Племянник Мещерского, граф Николай Петрович Румянцев, встретясь с ним, говорит, что надеется видеться с ним в такой-то день.

– А где же?

– Да у великого князя: у него бал, и вы, верно, приглашены.

– Нет, – отвечает Мещерский, – но я все-таки приеду.

– Как же так? Великий князь приглашает, может быть, только своих приближенных.

– Всё равно, я так люблю великого князя и великую княгиню, что не стану ожидать приглашения.

Румянцев для предупреждения беды счел за нужное доложить о том великому князю, который, много посмеявшись, велел пригласить Мещерского.

Поговорка *старая стала – плохая стала* ведется от этого Мещерского. Эти слова сказаны о нем казанским татаринном.

При проезде Мещерского через какой-то город Казанской губернии городничий не велел растворять ворота какого-то здания, хотел провести его через калитку. «Это что? – говорит наместник. – Я-то пролезу, но чин мой не пролезет». Император Павел, собираясь ехать в Казань, сказал ему: «Смотри, Мещерский, не проводи меня через калитку: мой чин еще повыше твоего». (Рассказано Петром Степановичем Молчановым.)

* * *

Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники. «Жаль, – сказал NN, – что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим».

* * *

Бенкендорф (отец Александра Христофоровича) был очень рассеян. Проезжая через какой-то город, зашел он на почту проведать, нет ли писем на его имя.

– А как ваша фамилия? – спрашивает его почтовый чиновник.

– Моя фамилия? – повторяет он несколько раз и никак не может ее вспомнить.

Наконец говорит, что придет после, и уходит. На улице встречается он со знакомым.

– Здравствуйте, Бенкендорф.

– Как ты сказал? Да, да, Бенкендорф! – И тут же бежит на почту.

Однажды он был у кого-то на бале. Бал довольно поздно окончился, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел плохо: тому и другому хотелось отдохнуть и спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». В кабинете им не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением, и хозяину нельзя было объяснить напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени, наконец хозяин решился сказать:

– Может быть, экипаж ваш еще не приехал, не прикажете ли, я велю заложить вам свою карету.

– Как вашу карету?! Да я хотел предложить вам свою...

Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся.

Бенкендорф был один из самых близких людей при дворе их высочеств Павла Петровича и Марии Федоровны. Отношения эти никогда не изменялись. В последние годы жизни переехал он на житье в Ригу. Ежегодно в день именин и в день рождения императрицы Марии Федоровны писал он ей поздравительные письма. Но был чрезвычайно ленив и, несмотря на всю преданность свою и на сердечные чувства, очень тяготился этой обязанностью. Когда подходили сроки, мысль о том, что надо написать письмо, беспокоила и смущала его. Он часто говаривал: «Нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и *скорее*».

* * *

Граф Остерман, брат вице-канцлера, тоже славился своей рассеянностью.

Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано полотно. Граф принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать полотно в карман. Наконец общий хохот присутствующих дал ему опомниться.

В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем как войти в гостиную, зашел он в особую комнатку. Там оставил он свою складную шляпу и вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под рукой, явился с нею в гостиную, где уже собралось всё общество.

За этим обедом или за другим зачесалась у него нога, и он, принимая ногу соседки за свою, начал тереть ее.

* * *

В наше время отличается рассеянными своими граф Михаил Виельгорский. Против воли своей, но по необходимой обязанности, отправился он к кому-то с визитом. И когда лакей, возвратясь к дверцам кареты, сказал ему, что принимают, он поспешно выговорил лакею: «Скажи, что меня дома нет».

* * *

К Державину навязался сочинитель прочесть ему произведение свое. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании. Так случилось и в этот раз. Жена

Державина, возле него сидевшая, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение, и автора, сказал он ей с досадой, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться».

* * *

Известно, что не только Бонапарт, но и Наполеон на вершине могущества своего не пренебрегал журналистикой. и она была в руках его броненосным орудием, которое он обращал против врагов своих, готовясь их поработить или застрашать.

В Англии издавалась газета «Лондонский Курьер», вероятно, на французские деньги. В №14 от 18 февраля 1802 года была напечатана статья против графа Маркова, бывшего тогда посланником в Париже. Из этой статьи видно, что какой-то Фульо рассылал по Европе скорописные вести, неблагоприятные для Первого консула и французского правительства. Фульо был арестован, и в министерстве полиции производили над ним следствие. По следствию оказалось, что он получал денежные пособия за эти бюллетени, и, справедливо или нет, но французское правительство стало подозревать, что тут замешаны и марковские деньги. Изложив ход событий, лондонская газета прибавляет, что «никто не мог ожидать, что будет упомянуто имя графа Маркова. Смешно было бы серьезно опровергать подобные небылицы и смотреть на них как на государственные дела. Указывать на должность посла нужно, соблюдая большую осторожность, приличие и достоинство, чтобы не нарушить уважения и доверенности правительства, при коем он аккредитован».

Тут же рассказывается, что вскоре после этого Первый консул, встретясь с Марковым, спросил его: не по бюллетеням ли дает он двору своему сведения о положении Франции? Мар-

ков, смущенный и пристыженный, не мог от замешательства ничего сказать. Спустя несколько секунд собрался он что-то выговорить, но улыбка Первого консула показала, что он не придает никакой важности этому делу.

Графа Маркова некоторые обвиняют в недостатке твердого и самостоятельного характера. Он очень умен и остер, но в дипломатии и вообще в государственных делах этого недостаточно. Главное дело – способность умно вести себя, что гораздо мудрее и реже встречается, чем способность умно говорить. Маркова еще в царствование Екатерины обвиняли в неудаче переговоров со шведским королем, перед помолвкой его с великой княжной Александрой Павловной. Во время посольства в Париже упрекали его в том, что он то слишком мирволит Бонапарту то досаждаст ему вздорными и задорными выходками.

* * *

«Вы готовите себе печальную старость», – сказал князь Талейран кому-то, кто хвастался, что никогда не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре.

Если определение Талейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолетства приучаемся и готовимся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками. Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты – одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре *азартной*.

Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун.

Пушкин, во время пребывания своего в Южной России, ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою.

Богатый граф Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознатель по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть впредь до нового запоя.

Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму и поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть и эта поэзия, это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, чем проигрывать.

Но мы здесь говорим о мирной, коммерческой игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, всем званиям и обоим полам. Одна русская барышня говорила в Венеции: «Конечно, климат здесь хорош; но жаль, что не с кем сразиться в преферанс». Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, доволен ли он Парижем: «Очень доволен, у нас каждый вечер была партия».

Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. «Он приятный игрок» – такой похвалы достаточно, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Примеры упадка умственных сил человека от болезни или от лет не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности; но начин игрок забывать козыри – и он скоро возбуждает опасение своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой вид остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием «Физиология колоды карт».

Впрочем, значительное использование карт имеет у нас и свою хорошую, нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения.

* * *

По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка. Чиновник не занимал особенно значительного места и ни по каким данным не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику.

– Он пьяница, – отвечал государь.

– Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по несколько раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие?

– А вот что, – сказал государь. – Одним летом в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка сидел в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: «Пришел Гаврюшкин – подайте водки».

Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и опала с несчастного чиновника была снята. (Слышано от Петра Степановича Молчанова; но, может быть, фамилия чиновника немножко искажена.)

* * *

У многих любовь к отечеству заключается в ненависти ко всему иноземному. У этих людей и набожность, и религиозность, и православие заключаются в одной бессознательной и бесцельной ненависти к власти папы.

* * *

Иной и не лжет прямо, и лжецом слыть не может, но мастерски умеет обходить правду. Некоторого рода обходы иногда нужны для вернейшего достижения цели; но опасно слишком вдаваться в эти обходы: кончишь тем, что запутаешься в проселках и на прямую дорогу никогда не выйдешь.

Один барин не имел денег, а очень хотелось ему их иметь. Говорят, голь на выдумки хитра. Наш барин запасся двумя или тремя подорожными для разезда по дальним губерниям и на этих подорожных основал свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и подорожных; пойдет к старосте, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, начнет он важно и громко читать подорожную: «По указу его императорского величества...» При этих словах он совершит крестное знамение, а за ним начнет креститься и весь народ. Когда же дойдет до слов: «Выдавать ему столько-то почтовых лошадей за указные прогоны, а где оных нет, то брать из обывательских», – тут скажет он, что у него именно оных-то и нет, то есть прогонов, то есть денег, а потому и требует он от обывателей такую-то сумму. Получив подать, отправляется он далее в другое селение, где повторяет ту же проделку.

* * *

Когда побываешь в Англии, то убедишься, что в нравах и обычаях английского общества и общежития есть довольно много *гнилых посадов* (буквальный перевод *rotten boroughs*, что, впрочем, и у французов переводится как *bourg pourri*⁷). Легкомысленно было бы признавать за несомненное следствие образованности всё, что здесь видишь. Напротив, много ускользнуло от образованности и осталось в первобытной своей неуклюжести и дикости: англичане упрямы, самолюбивы и сознательно и умышленно односторонни. Они преимущественно консерваторы в домашнем быту и во внутренней политике. Они позволяют себе ломать и очень смелы в ломках своих только во внешней политике.

Французский писатель Сюар где-то рассказывает, что на Гебридских островах присутствие иностранного путешественника заражает воздух и вызывает кашель у всех обывателей. Нет сомнения, что и присутствие иностранца в английском обществе, пока он себя совершенно не *англизирует*, должно производить раздражение, как присутствие разнородной и даже противородной стихии.

Кашель не кашель, а должно кожу морозом продирать – так все привычки жизни и весь день их тесно вложены в законную мерку и рамку. Оттого в английской жизни нет ничего нечаянного, скоропостижного. Оттого общий результат должен быть – скука. Недаром сказано: «L'en-nui naquit un jour de runiformite»⁸.

Нечего и говорить, что некоторых слов и выражений нет ни в английском языке, ни в английских понятиях. Например, *как-нибудь, покуда, по-домашнему, по-дорожному, запросто* и т.п. В Англии всё вылито в одну форму или в известные формы. Англичанин в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собой из одного края Англии до другого, или, лучше сказать, благодаря общему благоустройству в Англии находит готовыми: дома, в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в гостиницах.

Между Парижем и провинцией лежат столетия. В некоторых отношениях вся Англия есть продолжение Лондона. Англичане никогда не скажут: «Что же нам теперь делать? За что приняться?» Давным-давно уже внесено в общее уложение, что делать в такой-то час и в такое-то время года.

«Прошу вас, не беспокойтесь» – для меня континентальное выражение, которое иностранцу не придется и не придет на ум сказать англичанину: ибо англичанин ни для кого не беспокоится и не женируется⁹; а если он что и совершает похожее на учтивость, уступчивость и общежитейское жертвоприношение, но вовсе не для вас, а для себя, как исполнение обязанности и потому что так заведено и так быть должно. Ваша личность перед ним всегда в стороне, и если вздумается вам ее выставить, то англичанин вытаращит глаза на вас и вас не поймет.

Англичанина не собьешь с родной почвы, как ни перенеси его на чужую – в Париж, Рим или Петербург. Француз податливее и сговорчивее. Русский, с легкой руки Петра I, легко поддается чужим обычаям, где бы он ни был. Англичанин везде одевается, завтракает, ходит и мыслит по-английски. Это почтенно, но вчуже досадно и обидно.

Смотря на англичанина, особенно в Англии, чувствуешь его нравственное достоинство и силу. И этим, хотя и с грустью пополам, объясняешь себе превосходство и тяжеловесность английской политики в делах Европы и всего мира.

⁷ *Гнилым посадом* до избирательной реформы в Англии называлась местность, которая пользовалась старыми избирательными привилегиями, хотя народонаселение этой местности и значительно убавилось: таким образом, ограниченное число обывателей, поддаваясь влиянию или подкупу, располагало назначением члена в нижнюю палату. – *Прим. авт.*

⁸ «Скука родилась однажды из единообразия». – *Прим. авт.*

⁹ Женироваться (от франц. *gener*) – затрудняться, не решаться, по скромности. – *Прим. ред.*

Английский деспотизм обычаев превосходит всякое понятие. В оперную залу не впускают иностранца, если у него серая шляпа в руках. Если едешь в omnibusе и поклонись знакомому на улице, он примет это за неприличие и обиду. За обедом есть не как едят другие, ставить рюмку не на ту сторону, где должно, резать, а не ломать свой ломать хлеба: всё это может погубить человека в общественном мнении; и как ни будь он умен и любезен, а прослышет дикарем.

Что за прелесть английская езда! Катись по дороге как по бархату, не зацепишься за камушек. Колес и не слышать. Дорожную четырехместную карету, в которой покойно сидят шесть человек, везет пара лошадей, но зато каких! Около 35 верст проезжаешь в два часа с половиной. У нас ездят скорее, но часто позднее доезжаешь до места. Здесь минута в минуту приезжаешь в известный час. Здесь на деле сбывается пословица *тише едешь, дальше будешь*. К тому же нет мучительства для лошадей: не слышать кучерского ругательства и голоса, бичом своим он лошадей не погоняет, лошади пользуются личными и гражданскими правами. Огромная машина словно катится сама собою.

Из Брайтона ездили мы в ближайший городок Льюис. После моря и голых брайтонских берегов глаз отдыхает на зелени пригорков, деревьев и лугов, окружающих Льюис. В Англии зелень имеет особую свежесть и прелесть. Мы попали на скотный рынок, на ярмарку. Коровы, бараны, свиньи и мясники – все были налицо и в движении. Английский скот также имеет свое особенное дородство и достоинство.

Во время нашего завтрака в гостинице подъезжает к крыльцу четырехместная карета, очень красивая, с парой хороших лошадей, кучер одет порядочно. Вылезают четыре человека также весьма пристойной наружности. Кто это? Джентльмены они или поселяне, то есть по-нашему *мужики*? Зашел о том спор между нами. На поверку вышло мужики, но мужики вольные, хлебопашцы, то есть *фермеры*. Выпив по стакану портера, отправились они на свой скотный базар. Эти господа могли нам дать мерку и образчик всего того, чем Англия отличается от других государств.

* * *

Извлечение в переводе из неизданных на французском языке собственноручных записок польского короля Станислава Понятовского.

1) *Мой портрет*¹⁰

Писал я его в 1756 году, перечитал в 1760 году. Тогда прибавил я к нему несколько слов, записанных под этим числом. В продолжение моих записок укажу откровенно читателю моему на изменения, которые годы и обстоятельства внесли в мой портрет, по крайней мере настолько, насколько дано человеку познавать себя.

Начитавшись портретов, я захотел написать и свой.

Был бы я доволен наружностью своей, если был бы ростом несколько повыше, если бы нога моя была стройнее, нос менее орлиный, зрение не столь близорукое, зубы более на виду. Нимало не думаю, что и при исправлении этих недостатков вышел бы я красавцем; но не желал бы быть пригожее, потому что признаю в физиономии своей благородство и выразительность. Полагаю, что в осанке, движениях моих есть что-то изящное и отличительное, которое может везде обратить на меня внимание. Моя близорукость дает мне, однако же, и нередко вид несколько смущенный и мрачный, но это не надолго. После минутного ощущения неловкости часто в осанке моей обнаруживается излишняя горделивость.

¹⁰ В прошлом веке и особенно во Франции такие портреты были в большой моде и служили светской забавою в высшем и литературном обществе. – *Прим. авт.*

Отличное воспитание, полученное мной, много содействовало к прикрытию недостатков моих, как внешних, так и ума моего. Оно помогло мне извлечь возможную пользу из моих способностей и выказать их несоразмерно с их истинным достоинством. Достаточно имею ума, чтобы быть в уровень с каждым предметом разговора; но ум мой не довольно плодovit, чтобы надолго овладеть разговором и направить его, разве речь зайдет о таком предмете, в котором могут принять участие чувство и живой вкус, которым одарила меня природа ко всему, что относится до художеств. Скоро подмечаю и схватываю всё смешное и нелепое и все людские странности и кривизны. Часто давал я людям это чувствовать слишком скоро и резко. По врожденному отвращению ненавижу дурное общество.

Большая доля лени не дала мне возможности развить, сколько бы следовало, мои дарования и познания. Принимаюсь ли за работу – не иначе как по вдохновению; делаю много за один раз и вдруг или же ничего не делаю. Я нелегко выказываюсь и высказываюсь и вследствие того кажусь искуснее, нежели бываю на самом деле. Что же касается до управления делами, то прилагаю к ним обыкновенно слишком много поспешности и откровенности, а потому нередко впадаю в промахи. Я мог бы хорошо судить о деле, заметить ошибку в проекте или недостаток в том, кто должен привести этот проект в исполнение; но мне к тому нужны еще и совет постороннего, и узда, чтобы самому не впасть в ошибку.

Я чрезмерно чувствителен, но живее чувствую скорбь, нежели радость. Горе слишком сильно овладевало бы мною, если бы в глубине сердца не таилось предчувствие великого счастья в будущем. Рожденный с пламенным и обширным честолюбием, питаю в себе мысли о преобразованиях, о пользе и славе отечества моего: эти мысли сделались как бы канвою всех действий моих и всей жизни.

Я не считал себя пригодным к женскому обществу. Первые опыты сближения моего с женщинами казались мне случайными и условными. Наконец познал я нежность любви: люблю так страстно, что малейшая неудача в любви моей сделала бы из меня несчастнейшего человека в мире и повергла бы меня в совершенное уныние.

Обязанности дружбы для меня священны; простираю их далеко. Если мой друг провинится предо мной, то готов я сделать всё возможное, чтобы отвратить разрыв между нами; долго после оскорбления, им мне нанесенного, помню только то, чем был я ему некогда обязан. Я признаю себя добрым и верным другом. Правда, дружен я не со многими, но всегда безгранично благодарен за всякое добро мне оказанное. Хотя очень скоро подмечаю недостатки ближнего, но очень охотно прощаю их, вследствие рассуждения, к которому часто прибегал, а именно: как ни почитай себя добродетельным, но если беспристрастно вступишь в себя, то отыщешь в себе весьма унижительные тайные сходства с величайшими преступлениями: им будто недостает только случая и сильного давления, чтобы распусться. Беда, если не будешь строго сторожить за собой.

Люблю давать, ненавижу скряжничество, но зато не очень умею распоряжаться тем, что имею. Не так крепко храню тайны свои, как тайны чужие, на которые я очень совестлив. Я очень сострадательн. Мне так приятно видеть себя любимым и одобряемым, что самолюбие мое возросло бы до крайности, если бы опасение показаться смешным и навыв светских приличий не научили бы меня умению обуздывать себя в этом отношении. Впрочем, я не лгу, столько же по нравственным правилам, сколько и по врожденному отвращению ко всякому лицемерию.

Не могу сказать о себе, что я набожен, по общему значению этого слова; но смею сказать, что люблю Бога и часто молитвою обращаюсь к Нему. Я не чужд утешительного убеждения, что Он оказывает нам милость Свою, когда мы о том просим Его. Мне еще даровано счастье любить родителей моих, как по склонности, так и по обязанности. Хотя под первым движением досады мысль об отмщении и могла бы прийти мне в голову, но полагаю, что не мог бы я осуществить ее на деле: жалость взяла бы верх. Случается, что прощаешь по слабости так же часто, как и

по великодушию. Опасаюсь, что по этой причине многим из моих предположений на будущее время не дано будет обратиться в действительность. Охотно размышляю и достаточно наделен воображением, чтобы не скучать наедине и без книги, особенно с тех пор, что люблю. (1756 год.)

Должен я ныне прибавить, что могу долго и постоянно желать одного и того же. Наблюдая за собой, пришел я к заключению, что, находясь уже три года среди людей отвратительных и гнусных, которые навлекли на меня ужасные страдания, я сделался менее способным ненавидеть. Не знаю, истощился ли мой запас ненависти, или кажется мне, что видал я и хуже этого. Если буду когда-нибудь счастлив, то желал бы я, чтобы все были счастливы и никому не было бы повода сожалеть о счастье моем. (1760 год.)

История может, конечно, отказать несчастному Понятовскому в государственных качествах, которыми должен обладать правитель народа; но, прочитав сей портрет, который нельзя заподозрить в несходстве и в недостатке чистосердечия, нельзя, забывая венценосца, не сочувствовать человеку. Да и все современные свидетельства соглашаются в похвальном и лестном отзыве о нем. Сочувствуя, нельзя и не пожалеть об игралище и жертве каких-то обольстительных и счастливых обстоятельств, которые почти мимо воли его вознесли его на блестящую вершину, а потом низринули в смутные столкновения, заперли в безысходную засаду и устремили к окончательному падению.

Впрочем, и при большей твердости духа, и при лучшем умении вести державные дела, едва ли мог бы Понятовский или кто другой усидеть на шатком польском престоле. Исторические, географические и соседственные сервитюды¹¹ и давление влекли роковой силой Польшу к неминуемой гибели и, так сказать, политическому самоубийству. Можно сказать, что внешние тяготения ослабили и *ампутировали* Польшу; но и Польша сама деятельно работала в смысле окончательного разложения своего.

Мы упомянули о географических условиях Польши, заимствуя мысль у князя Паскевича. Его спрашивали, почему поляки всегда раболепствуют или бунтуют. «Такова уже их география», – отвечал наместник.

Пойдем далее в выписках своих.

2) *Поручение, данное Ностицу в Варшаве.*

Сделанное мне предложение

Вскоре по кончине Августа III курфюрст, старший сын его, сделал в Польше попытку наследовать ему. Супруга его частным образом действовала в этом же смысле. Камергер Ностиц прислан был в Варшаву с этой же целью. Саксонский двор вздумал, между прочим, предложить мне денежную сумму и много других обещаний с тем, чтобы я отказался от подобного соискательства. Советник Шмидт, на которого возложены были эти переговоры, сам смеялся, всё это мне передавая и угадывая заранее мой ответ. Но все эти саксонские проекты уничтожены были оспой, от которой курфюрст умер, и никто не хотел заменить его одним из братьев.

3) *Важное предложение, сделанное мне Кейзерлингом*

Около половины 1764 года, когда затруднения к моему избранию на престол, по-видимому, более и более скоплялись, посол Кейзерлинг, который всегда оказывал мне самую приятную доверенность, спросил меня однажды: «Что скажете вы о мысли, которая пришла мне в голову и о которой желал бы я знать мнение ваше. Нельзя ли было бы, вместо вас, призвать к престолу дядю вашего, русского палатина князя Чарторижского? Скажите мне искренно: что было бы полезнее для Польши? Вы дадите мне на это ответ через три дня».

¹¹ Здесь: подчиненное положение. – Прим. ред.

В этот промежуток времени тысяча различных мыслей выказала мне вопрос сей со всех сторон. Главнейшая мысль, более всех меня озаботившая, была та, что рано или поздно императрица может обвенчаться со мной, если буду я королем; а если королем не буду, то и браку этому никогда не бывать. С другой стороны, три человека, которых я тогда наиболее любил, были: старший брат мой, Ржевуский (после маршал) и Браницкий, с которым дружественно сблизился я в России. Нужно сказать, что дядя мой, палатин, явил этим трем лицам чувствительные доказательства недоброжелательства своего. Наконец, знал я деспотический и неукротимый нрав моего дяди. Всё это по истечении трех дней побудило меня сказать: «Какой ни имел бы я повод полагать, что дядя лично дружески расположен ко мне, но не могу не сознаться, что, по мнению моему, царствование дяди моего было бы крутым и жестким, и по этой причине думаю, что для блага народа лучше было бы мне быть королем, а не ему». Как скоро Кейзерлинг выслушал мой ответ, он воскликнул с живостью: «Боже упаси нас от жестокосердного царствования, – и прибавил, – чтобы не было впредь и в помине о том».

Это обстоятельство, столь важное в жизни моей, более всего утвердило меня в убеждении, что из всех человеческих заблуждений менее всех прощительное есть гордость. Тот, кто хвалится тем, что он в таком или другом случае хорошо сказал или хорошо действовал, не принимает в соображение, что человек не в силах дать себе мысль, что все мысли – и преимущественно те, что впоследствии наиболее обольщают нас одержанным успехом, – исходят от Того, Кому благоугодно было нам их ниспослать.

Только спустя восемь лет после этого ответа представился уму моему тот, который надлежало бы мне сделать, а именно: «Не хочу быть королем без уверенности, что буду супругом императрицы. Если будет мне в том отказано, то прошу одного удостоверения в благорасположении будущего короля к трем друзьям моим; я же останусь частным лицом. Корона без императрицы не имеет для меня никакой прелести». Таким образом всё примирил бы я. В первом случае до какой степени блеска и благоденствия возвысилась бы Польша! В другом случае снискал бы я себе новое право на уважение и признательность императрицы. Вместе с тем обеспечил бы я фортуна трех друзей моих, а равно мог бы быть уверенным в особой ко мне милости дяди моего и во всех возможных выгодах и приятностях, коими пользоваться может частный человек. Я отвратил бы от себя все скорби и от отечества моего все бедствия, на которые будет указано в продолжении сих записок.

А первоначальная причина всех этих неблагоприятных последствий заключается в том, что дядя мой никогда простить не мог, что не он, а я сделался королем. Я уверен, что доходило до сведения его (если не сам он внушил это) предложение, сделанное мне Кейзерлингом. Сужу по тому, что, спустя несколько месяцев, когда речь зашла о противодействии, даже до пролития крови, которое может встретить избрание мое на престол, и я отвечал, что скорее откажусь от короны, нежели потерплю, чтобы избрание мое стоило единой капли польской крови, то княгиня Стражница (Straznik?), впоследствии маршалша, горячо сказала следующие слова: «Да ведь зависело только от...», и тут в смущении прервала речь свою и обратила разговор на другие предметы.

Почти то же повторилось, хотя и не в таких размерах, при назначении императором Александром в наместники Зайончека, тогда же пожалованного в княжеское достоинство. Это назначение было для всех совершенно неожиданным и всех удивило. Второй князь Адам Чарторижский и вся Пулавская партия¹² желали и полагали, что выбор императора падет на него. Зайончек был храбрый генерал (как почти и все поляки храбры на войне), лишился ноги в сражении, ходил на костылях, был человек честный, но вовсе не был на виду и не имел тех блестящих качеств, которые вызывают на честолюбие. Он не имел ни партии, ни клеветов,

¹² Пулавы – великолепное, недалеко от Варшавы, поместье Чарторижских, посещаемое путешественниками и воспетое поэтами. – *Прим. авт.*

ни трубачей за себя; мало имел даже и связей в варшавском аристократическом обществе. По старости лет не имел и поклонниц и усердных ходатайниц в прекрасном поле (а в Польше непременно нужно иметь свою партию и свой летучий женский отряд).

По всему этому император именно и обратил внимание свое на него. Однажды в Варшаве призывает он генерала Зайончека в свой кабинет и спрашивает мнения его, кого бы назначить наместником царства. Выслушав его, государь говорит ему: «А мой выбор уже сделан: я вас назначаю». Старик, никогда о том и не мечтавший, не менее публики удивлен был, когда, вошедши в царский кабинет рядовым генералом, вышел он из него царским наместником. Разумеется, не одно это назначение посеяло в обществе семена раздора и оппозиции; но, по всем соображениям, оно немало могло тому и содействовать. Впрочем, для соблюдения истины должно прибавить, что, по общему мнению, сильно разыгралось тут не столько обманутое честолюбие князя Чарторижского, сколько деятельное и суетливое честолюбие семейства его.

4) Отрывок из письма императрицы 2 августа 1762 года

«Согласно с желанием его, отправляю графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем. А если он в том не успеет, то пусть будет избран князь Адам». (Чарторижский.)

Зимой 1763—1764 годов писал я императрице: «Не делайте меня королем, а снова призовите к себе». Не одни сердечные чувства побуждали меня выразить эту просьбу. Я был убежден, что могу принести в таком случае более пользы отечеству моему как частное лицо при ней, нежели здесь как король. Но просьбы мои не получили удовлетворения.

5) Анекдот, касающийся до избрания моего

За несколько недель до дня, назначенного для моего избрания, у императрицы возникло сильное опасение, что избрание мое может вовлечь ее в большие затруднения и даже в войну с Портою. Вопреки Панину, писала она к Кейзерлингу, что, опасаясь многих неудобств для России и для себя от слишком упорного настаивания на избрании моем, она повелевает ему не доходить до формального поручительства за меня, но ограничиться действием, которое он почтет влекущим за собой наименее худые последствия.

Панин осмелился написать Кейзерлингу: «Не знаю, что пишет вам императрица; но после всего, что мы доньше сделали, честь императрицы и государства нашего так связана с этим вопросом, что, отступая от него, мы много повредили бы себе. Итак, продолжайте как следует, чтобы довершить это дело. Смело вам это высказываю».

И Кейзерлинг не побоялся послушаться своей государыни и последовать совету ее первого министра. Он изложил формальный акт от имени императрицы. А поскольку был он в то время болен и не мог лично представить его примасу (как то обыкновенно делалось в прежних избраниях), то и представил бумагу свою через посольского секретаря, барона Аша.

Избрание мое совершилось единогласно и в таком порядке, что большое число дам присутствовало на избирательном поле, среди дворянских эскадронов. Только и был при этом один несчастный случай: лошадь лягнула господина Трояновского и раздробила ему ногу. Многие дамы сливали голоса свои за избирательными кликами воеводств, когда примас на колеснице своей проезжал и собирал от маршалов воеводских конфедераций избирательные записки за скрепою присутствующих.

По общему мнению, около 25 тысяч человек окружало избирательное поле, и в этом числе ни один голос не восстал против меня.

Что ни говори, а если смотреть беспристрастно, то в этой отрывочной исповеди не обрисовывается пошлый и своекорыстный честолюбец. Тут честолюбие есть, но оно очищено и облагорожено более возвышенными побуждениями; оно питается двойной любовью. В исповедующемся видим хотя и грешника, но честного человека; видим здравый ум, который хорошо

и верно судит о настоящем положении и так же верно предвидит опасения в будущем. Он раскаивается в том, что увлекся, что не следовал видам, которые сам исчислил и оценил; но раскаивается поздно. Впрочем, когда же в делах житейских раскаяние не бывает поздней добродетелью?

Вместе с тем виден здесь и поляк-мечтатель. Польская политика всегда сбивается на фантазию. Романтической литературы еще и в помине не было, а благодаря полякам была уже романтическая политика, пренебрегающая единством времени, места и действия. У них нет классического воззрения на вещи и события. Всё перед ними освещается фальшфейерами, которые принимают они за маяки.

В своей романтической мечтательности, в своей *галлюцинации* Понятовский строит свой воздушный замок, воздушный престол на несбыточном браке с императрицей. Его не пугает, не отрезвляет вся несообразность подобной надежды; его не пробуждает от сновидения вся историческая, политическая и народная русская невозможность такого события. Для романтической политики нет ни граней, ни законов; для нее нет никаких невозможностей. В покушениях своих, в политических стремлениях поляки не признают роковой силы слова *невозможность*.

Не видали ли мы много примеров тому и после Понятовского? Кому из поляков не грезило хотя раз в жизни, что Европа почтет для себя обязанностью и удовольствием предложить ему руку и сердце свое и принести в приданое все силы и войска свои? И легковерный и несчастный поляк, рассчитывая на это будущее, губит свое настоящее.

Он пускается во вся тяжкая, ставит ребром свой последний *злотый*, свои последние усилия и надежды и окончательно разоряется впредь до нового самообольщения, до нового марева и новых жертвоприношений неисправимой мечте своей. Разумеется, государственной политике должно, при таких периодических увлечениях и припадках, быть всегда настороже. Это периодически-хроническое расположение угрожает спокойствию и безопасности соседей. Всё это так; но сердиться на поляков не за что, а ненавидеть мечтателей – и подавно. Вспомним слово князя Паскевича: вся их романтическая политика грешит роковыми условиями непреложной географии.

Странная и какая-то таинственно-роковая игра запечатлела судьбу Понятовского. Будущее царствование его случайно возродилось в Петербурге; в Петербурге же и погасло это посмертное царствование. По движению великодушия и рыцарства императора Павла развенчанный венценосец был призван в Петербург. Царской тени его воздавались почести, подобающие неизгладимому величию царского достоинства. Он жил в Мраморном дворце, окруженный придворным штатом. На всех праздниках, во всех торжествах император Павел уделял ему царское место. Он постоянно был к нему внимателен и приветлив, с той врожденной и утонченной вежливостью, которая отличала императора, когда он к кому благоволил и не был раздражен неприятными впечатлениями. Одним словом, Понятовский жил и умер в Петербурге польским королем, но только без польского королевства. Впрочем, едва ли и в Варшаве владел он этим королевством.

Как много драматических движений и неожиданностей в этой участи; как много глубокого исторического и нравственного смысла! Здесь история в романе, и роман в истории.

* * *

Известно, что император Александр Павлович в последние годы царствования своего совершал частые и повсеместные поездки по России. В это время дорожное строительство и повинность доходили до крайности. Ежегодно и по несколько раз в год делали дороги, переделывали их и все-таки не доделывали, разве под проезд государя; а там опять начнется зем-

лекопание, ломка, прорытие канав и прочее. Эти работы, на которые стонялось деревенское население, возрастали до степени народного бедствия.

Разумеется, к этой тягости присоединялись и злоупотребления земской администрации, которая пользовалась, промышляла и торговала дорожными повинностями. Народ кряхтел, жаловался и приписывал все невзгоды Аракчееву, который тут ни душой, ни телом не был виноват. Но в этом отношении Аракчеев пользовался большой *популярностью*: он был всеобщим козлом отпущения на каждый черный день.

В Московской губернии в осеннюю и дождливую пору дороги были совершенно недоступны. Подмосковные помещики за 20 и 30 верст отправлялись в Москву верхом. Так ездил князь Петр Михайлович Волконский из Суханова; так ездили и другие. Так однажды въехал в Москву и фельдмаршал Сакен. Утомленный, избитый толчками, он на последней станции приказал выпрячь лошадь из-под форейтора, сел на нее и пустился в путь. Когда явились к нему московские власти с изъявлением почтения, он обратился к губернатору и спросил его, был ли он уже губернатором в 1812 году; на ответ, что не был, граф Сакен сказал: «А жаль, что не были! При вас Наполеон никак не мог бы добраться до Москвы».

* * *

Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: «Что делается в России?», то пришлось бы сказать: «Крадут». Он был непримиримый враг русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной. Сам был он не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советоваться с государству.

Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. Если никогда не бывал он, что называется, в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгой умеренностью, впрочем (как сказано выше), чуждою скупости: напротив, он всегда держался правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на качество, и покупать что есть лучшее.

В первые времена письменной деятельности Карамзина, да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые («Аониды» и пр.), не представляли большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости в течение двух-трех лет прибегал он как к пособию к карточной коммерческой игре. Играл Карамзин умеренно, но с расчетом и умением. Можно сказать, до самой кончины своей он не жил на счет казны. Скромная пенсия в 2000 рублей ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительна.

Впоследствии близкие отношения к императору Александру, милостивое, дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменили этого скромного положения. В сношениях своих с государем Карамзин дорожил своей нравственной независимостью, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной.

Можно подумать, что и государь, с обычной своей мечтательностью, не хотел придать сношениям своим с Карамзиным характер официальный. Впрочем, приближенные к императору замечали не раз, что он не имел ясного понятия о ценности денег: иногда вспоможение миллионом рублей частному лицу не казалось ему чрезвычайным, в другое время он задумывался над выдачей суммы незначительной.

Карамзин за себя не просил: другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством.

Как уже сказано, Карамзин заботился не о себе. Но в меланхолическом настроении духа, к которому склонен он был даже и в дни относительного счастья, не мог он внутренне не думать с грустью о том, что не успел обеспечить материально участь довольно многочисленного и нежно и горячо любимого им семейства. Провидение, в которое он покорно и безгранично веровал, оправдало эту веру и между тем поберегло бескорыстие и добросовестность его. Пока бодрствовал он духом и телом, обстоятельства не искушали его и не приводили в опасение быть в противоречии с самим собой.

Только на смертном одре и за несколько часов до кончины получил Карамзин поистине царскую награду, возмездие за чистую и доблестную жизнь, за долгую и полезную деятельность и заслуги перед Отечеством. Это была, так сказать, при жизни, но уже посмертная награда. Оказал ее не император Александр, а, в память его, достойный и великодушный преемник его. Глубоко, умилительно растроганный подобной милостью, Карамзин оставался верен правилам и убеждениям своим: он находил, что милость чрезмерна и превышает заслуги его. Последние строки, написанные его ослабевшей и уже остывающей рукой, которая некогда так деятельно и бодро служила ему, стали выражением глубокой благодарности тому, кто осветил предсмертные часы его. Карамзин умирал спокойно, зная, что участь детей его обеспечена.

* * *

Странные бывают люди! Есть, например, такие, которые на том основании, что они переносятся в далекое место быстро и по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница и Вольтера. При каждом удобном, а часто и неудобном случае они на лету и с высоты вагона своего смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любят себя в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но всё же не дошел еще до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, кто ума не имеет.

Терпение! Пускай обождут они немного; может быть, такой аппарат и осуществится, и тогда разрешат им смеяться над Лейбницем и Вольтером.

* * *

А.М.Пушкин спрашивает путешествующего англичанина, правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка, и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребенки, сапоги и проч. «Не слышал, – простодушно отвечает англичанин. – При мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по материке: может быть, эта машина изобретена без меня».

* * *

Приятель князя Дашкова выражал ему свое удивление, что он ухаживает за госпожой ***, которая не хороша собой, да и не молода. «Всё это так, – отвечал князь, – но если бы ты знал, как она благодарна!»

* * *

Княгиня Ц. говорила, что не желала бы овдоветь, а желала бы родиться вдовой.

* * *

NN говорит: «Жаль, что нет третьего пола для третейского и мирового суда в тяжбе между мужским и женским полом; а то судят и решат между собою дело сами подсудимые».

* * *

Денис Давыдов во время сражения докладывал князю Багратиону, что неприятель *на носу*. «Теперь, – сказал князь Багратион, – нужно узнать, на чьем носу: если на твоём, то откладывать нечего и должно идти на помощь; если на моём, то спешить еще ни к чему».

* * *

Е. говорит, что в жизни следует решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты.

* * *

Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией: он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него за бесчестье. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в общей сложности чего-нибудь да стоят».

* * *

На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо него, императрица три раза сказала ему:

– Кажется, сегодня холодно?

– Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло, – отвечал он каждый раз. – Уж воля ее величества, – сказал он соседу своему, – а я на правду – черт.

* * *

– Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом, – говорила Екатерина II какому-то генералу.

– Разница большая, – отвечал он, – сейчас доложу вашему величеству. Вот извольте видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе.

– А, теперь понимаю, – сказала императрица.

* * *

Слепой Молчанов (Петр Степанович) слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и мать бранит его. Он спрашивает причину тому.

– А вот капризничает, – говорит мать, – не хочет сидеть, где посадили его, а просится на прежнее место.

– Помилуй, – отвечает Молчанов, – да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится.

Я не знал Молчанова, когда он был, как говорится, в случае и в силе. Он считался всемогущим дельцом при князе Н.И.Салтыкове; а князь, в пребывание императора за границей во время войны, оставался чуть ли не регентом в России. Касательно этой эпохи ничего положительного о Молчанове сказать не могу: я вовсе не знал его, а худого понаслышке ничего сказать не хочу.

Сблизился я с ним уже позднее, когда был он в отставке и слеп. Нашел я в нем человека умного, обхождения самого вежливого и приятного. Отставку и слепоту переносил он бодро и ясно. Был словоохотлив, говорил и рассказывал с большой живостью и увлекательностью. Много и многих знал он близко; знал хорошо и сцену света, и актеров, и закулисные тайнства и всё сохранил он в своей твердой и зеркальной памяти. Искал он беседы с людьми, чем-нибудь известными и достойными внимания. С ними он, так сказать, кокетничал, приискивая их доброе к себе расположение. Он говаривал, что можно прикинуться и богатым, и знатным, но умным уж никак не прикинешься, если нет ума.

Между прочими рассказами его особенно значителен один, свидетельствующий о недоброжелательном и недоверчивом расположении императора Александра к Кутузову и поэтому принадлежащий истории. Когда Наполеон в 1812 году шел к Москве, Петербург также был не очень покоен и безопасен. В нем также принимались правительством меры, чтобы заблаговременно вывезти из столицы все драгоценности, государственные дела и проч. Не был забыт и памятник Петру Великому: и он предназначался к упаковке и отправлению в безопасное место водой. И подлинно, слишком было бы грустно старику видеть, как через *прорубленное им окно* влезли в дом его недобрые люди.

Государь поручил спасение памятника особенной распорядительности Молчанова: секретно выдана была ему на то из казначейства надлежащая сумма. Когда по выходе Наполеона из Москвы дела наши приняли благополучный оборот и неприятель оказался преследуем нашими войсками, Молчанов при одном докладе государю напомнил о вверенной ему сумме и спросил, не прикажет ли его величество отдать ее обратно в казначейство. «Ты Кутузова не знаешь, – с живостью прервал его государь, – было бы у него всё хорошо, а о других заботиться он не станет. Держи деньги пока у себя на всякий случай».

Когда Дмитриев был министром юстиции, он часто бывал недоволен Молчановым из-за противодействие его делам, которые Дмитриев вносил в Комитет министров. Противодействие было так для него чувствительно, что он отпросился в отпуск во время отсутствия государя. Позднее, когда он снова вступил в управление министерством, а государь возвратился из Парижа, эти неудовольствия отразились на холодном приеме, оказанном ему императором. Приближенная к государю особа выразила сожаление по этому поводу, заметив, что Дмитриев – честный человек и пользуется общим уважением. Государь, вероятно, предубежденный князем Салтыковым, сказал на это: «Он слишком горд; не худо дать ему урок». Вскоре после того прекратились и личные министерские доклады государю. Дмитриев тогда вышел в отставку.

Много лет спустя, когда Молчанов и Дмитриев, то есть временный победитель и побежденный, были уже в отставке, случай свел их в Москве. Жихарев, некогда служивший при Молчанове и преданный Дмитриеву, дал им при проезде первого через Москву примирительный обед. По крайней мере при последнем пороге жизни очистились они друг перед другом от неприязненных чувств, которые, может быть, пережили в сердцах их и самую пору, и самые причины взаимного недоброжелательства: политические и даже просто служебные разномыслия и пререкания гораздо злопамятнее, нежели сердечные и любовные размолвки.

В то время холера начинала разыгрываться. Молчанов очень боялся ее. По возвращении своем в Петербург он наглухо заперся в своем доме, как в крепости, осажденной неприятелем, но крепость не спасла: неприятель ворвался в нее и похитил свою жертву.

* * *

Страх холеры действовал тогда на многих; да, впрочем, по замечанию Д.П.Бутурлина, едва ли на какое другое чувство и могла бы она надеяться.

Граф Ланжерон, столько раз выдавший смерть во многих сражениях, не остался равнодушным к холере. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал духовное завещание, начинающееся так: «Умирая от холеры, и проч.».

На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолудин, верующий в благодать Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали в народе, что холера есть докторское или польское напущение. При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем, благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а, по моему мнению, эта холера есть не что иное, как повторение *14 Декабря*».

* * *

Мы говорили о недоверии императора Александра к Кутузову; вот еще разительный тому пример. По назначении Кутузова главнокомандующим над войсками государь приказал ему приехать к себе в такой-то час в Каменно-островский дворец. Назначенный час пробил, а Кутузова нет. Проходит еще минут пять и более. Государь несколько раз спрашивает, приехал ли он. А Кутузова всё еще нет. Рассылаются фельдъегеря во все концы города, чтобы отыскать его. Наконец приходит сведение, что Кутузов в Казанском соборе слушает заказанный им молебен.

Когда Кутузов приезжает, государь принимает его в кабинете и остается с ним наедине около часа. Отпуская, провожает его до дверей комнаты, следующей за кабинетом, и тут прощается с ним. Возвращаясь, проходит он мимо графа Комаровского, дежурного генерал-адъютанта, и говорит ему: «Публика хотела назначения его, и я его назначил; что до меня касается, умываю руки».

Этот рассказ со слов графа Комаровского был передан мне Д.П.Бутурлиным. Правдивость того и другого не подлежит сомнению. Как подобный отзыв ни может показаться сух, странен и предосудителен, но не должно останавливаться на внешности его. Проникнув в смысл его внимательнее и глубже, отыщешь в этих словах чувство тяжелой скорби и горечи. Когда поставлен был событиями вопрос *быть или не быть России*, когда дело шло о государственной судьбе ее и, следовательно, о судьбе самого Александра, нельзя предполагать в государе и человеке бессознательное равнодушие и полное отсутствие чувства, врожденного в каждом, – чувства самосохранения. Государь не доверял ни высоким военным способностям, ни личным свойствам Кутузова. Между тем он превозмог в себе предубеждение и вверил ему судьбу России и свою судьбу, вверил единственно потому, что Россия веровала в Кутузова. Тяжела должна была быть в Александре внутренняя борьба; великую жертву принес он Отечеству, когда, подавляя личную волю свою и безграничную царскую власть, покорил он себя общественному мнению.

Можно обвинять Кутузова в некоторых стратегических ошибках, сделанных им во время Отечественной войны; но это подлежит разбирательству и суду военных авторитетов. Это вопрос науки и критики. Отечество и народ не входят в подобные исследования. Они видят в

Кутузове освободителя родной земли от иноплеменного нашествия: весь суд свой о нем заключают они в одном чувстве благодарности.

Нет сомнения, что окончательно и Александр не отказал ему в этом чувстве. Государю не было повода раскаяться в том, что он послушался народного голоса, который на этот раз, и, может быть, не в пример другим, был точно голосом Божиим. Еще задолго до 1812 года император, разговаривая о Наполеоне с сестрой своей, великой княжной Марией Павловной, сказал эти замечательные слова: «Нам обоим нет места в Европе. Одному из нас рано или поздно придется отступить».

Государь носил в себе предчувствие неминуемости войны. Все мелкие события, ей предшествовавшие и будто ее вынудившие, были только побочными принадлежностями, каплей, которой переполняется сосуд. В людских суждениях часто останавливаются на этих каплях, забывая о сосуде, который уже полон. Кутузов помог императору Александру выйти победителем из первого действия поединка на жизнь и смерть, который Александр предвидел. Вот место, которое должен занять Кутузов в истории и в благодарной народной памяти.

* * *

Граф Растопчин рассказывает, что в царствование императора Павла Обольянинов поручил Сперанскому изготовить проект указа о каких-то землях, которыми завладели калмыки или которые у них отнимали (в точности не помню).

Дело в том, что Обольянинов остался недоволен редакцией Сперанского. Он приказал ему взять перо, лист бумаги и писать под диктовку. Сам начал ходить по комнате и наконец проговорил: «Пишите. По поводу калмыков и по случаю оные земли... – тут он остановился, продолжал молча ходить по комнате и заключил диктовку следующими словами: – Вот, сударь, как надобно было начать указ. Теперь подите и продолжайте».

Вполне ли верен сей рассказ или немного приукрашен воображением рассказчика, решить трудно. В правдивости графа Растопчина нет повода сомневаться; но известно, что анекдотисты, рапсоды, изустные хроникеры нередко увлекаются словоохотливостью своей: они раскрашивают первобытный рисунок, импровизируют вариации на заданную тему. Обольянинов мог быть небольшой грамотей, но, как слышно, был он человек благоразумный и не лишенный хороших свойств.

* * *

В конце минувшего столетия сделано было распоряжение Коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши наших заграничных послов писались исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших чиновников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгар Французской революции писал: «Гостиницы гозбят безштанниками». Это должно было соответствовать французской фразе: «Les auberges abondent en sans-cullotes».

Кстати. Один из наших посланников писал: «Я бросил свой лот в океан политики». Граф Растопчин был тогда главноуправляющим по иностранным делам; он отвечал ему: «Вследствие донесения вашего имею честь уведомить вас, милостивый государь, что его величеством поручено мне повелеть вам вытащить свой лот и возвратиться в раковину спокойствия». (Слышано от графа Растопчина.)

* * *

Кем-то было сказано: «Стихи мои, обрызганные кровью». «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?» – спросил Дмитриев.

* * *

Хвостов сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». «Полная биография в нескольких словах, – заметил Блудов, – тут в одном стихе всё, чем он гордиться может и чего стыдиться должен».

* * *

Графиня Толстая, урожденная Протасова, была женщина умная, образованная, но особенно известна своими причудами и оригинальностью. Эти своеобразные личности более и более стираются с общественного полотна. Жаль: они придавали картине блеск и оживление. Новое поколение смотрит с презрением на эти остатки

Времен Очаковских и покоренья Крыма.

Оно замыкается в однообразной важности своей и слышать не хочет о частных исключениях, не подходящих под определенную меру и раму. Что же из этого выходит? По большей части одна плоская скука, и только.

Графиня Толстая говорила, что не желает умереть скоропостижной смертью: как неловко явиться перед Богом запыхавшись. По словам ее, первой заботой ее на том свете будет разведать тайну о Железной маске и о разрыве свадьбы графа В. с графиней С., который всех удивил и долго был предметом догадок и разговоров петербургского общества. Наводнение 1824 года произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что, еще задолго до славянофильства, дала она себе удовольствие проехать мимо памятника Петру и высунуть перед ним язык! Когда была воздвигнута колонна в память Александру I, она запретила кучеру своему возить ее в близости колонны: «Не ровен час (говорила она), пожалуй, и свалится она с подножия своего».

Так равно, за много лет до учреждения обществ покровительства животным, она на деле выражала им свою любовь и деятельное покровительство. Дома окружена она была множеством кошек и собак. Наконец они так расплодились, что уже не было им достаточного помещения в домашнем ковчеге. Тогда разместила графиня излишество своего народонаселения по городским будкам, уплачивая будочникам известную месячную плату на содержание и харч переселенцев. В прогулках своих объезжала она свои колонии, приказывала вносить в карету к себе колонистов и, когда казалось ей, что они не довольно чисто и сытно содержаны, будочникам делала строгий выговор и грозила им, что переведет своих приемышей на другую застольщину.

Муж ее, граф Варфоломей Васильевич, был не так оригинален, как жена, но тоже чудак в своем роде. Он имел несчастную для приятелей и вообще для слушателей своих страсть к виолончели; а в прочем человек был не злой и необидчивый. Имел он привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он на Большой Морской), смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит посмотреть на улицу и сказать, что он видит на ней.

– Граф Милорадович изволит разъезжать на двенадцативесельном катере, – отвечает слуга.

– Как на катере?

– Так-с, ваше сиятельство: в городе страшное наводнение.

Тут Толстой крестится и говорит:

– Ну, слава Богу, что так; а то я думал, что на меня дурь нашла.

* * *

Генерал Костенецкий почитает русский язык родоначальником всех европейских языков, особенно французского. Например, *domestique* явно происходит от русского выражения *дом мести*. *Кабинет* означает *как бы нет*: человек запрется в комнату свою, и, кто ни пришел бы, хозяина как бы нет дома. И так далее.

Последователь его, а с ним и Шишкова, говорил, что слово *республика* не что иное, как *режь публику*.

* * *

Шамфор в своих «Анекдотах и характерах» рассказывает между прочим следующее. Императрица Екатерина пожелала иметь в Петербурге знаменитую певицу Габриелли. Та запросила пять тысяч червонцев на два месяца. Императрица велела сказать ей, что она подобного жалованья не дает ни одному из фельдмаршалов своих. «В таком случае, – отвечает Габриелли, – пускай ее величество своих фельдмаршалов и заставляет петь».

* * *

– Почему не напишете вы романа? – спрашивали NN. – Вы имели столько случаев узнать коротко свет, жизнь и людей, ознакомились с обществом на разных ступенях; имеете наблюдательность и сметливость.

– А не пишу романа, – отвечал NN, – потому что я умнее многих из тех, которые пишут. Мой ум не столько произрастительный, сколько сознательный и отрицательный. Подобные умы знают положительно, чего делать они не могут.

Ум и умение – две вещи разные. У одного лежат дома ткани, но он не умеет кроить, и ткани остаются без употребления. Другой кое-как набил руку и сделался закройщиком; но у него нет под рукой ткани, и он забирает в лоскутном ряду всякую. Ветошь сшивает на живую нитку и изготавливает пестрые платья, которые ни на что не похожи и никому не в пору.

* * *

Дельвиг говаривал с благородной гордостью: «Могу написать глупости, но прозаического стиха никогда не напишу».

* * *

«Нет круглых дураков, – говорил генерал Курута, – посмотрите, например, на В. Как умно играет он в вист!»

* * *

А.Л.Нарышкин не любил государственного канцлера графа Румянцева и часто трунил над ним. Сей последний носил до конца своего косу в прическе. «Вот уж подлинно скажешь, – говорил Нарышкин, – нашла коса на камень».

* * *

Я.А.Дружинин, долговременно известный по министерству финансов, был в ранней молодости и почти в отрочестве чем-то вроде кабинетного секретаря при

Павле Петровиче. Он каждый день и целый день дежурил в комнате перед царским кабинетом.

Между тем в Петербург приехал эмигрант из королевской фамилии принц Конде. Однажды на праздник Рождества император пригласил его в сани для прогулки по городу. Молодой же Дружинин на свободе задремал на стуле. Вдруг спронеся слышит он знакомый голос императора, который кричит: «Подайте мне сюда эту свинью!» Сердце Дружинина дрогнуло. Он побоялся беды за свой неуместный и неприличный сон, но и тут обошлось благополучно. Оказалось, что Павел Петрович возил принца на рынок, чтобы показать ему выставку разной замороженной живности, купил большую мерзлую свинью и велел привезти ее во дворец. (Слышано от самого Дружинина.)

* * *

Один директор департамента делил подчиненных своих на три разряда: одни могут не брать, другие могут брать, третьи не могут не брать. Замечательно, что на общепринятом языке у нас глагол *брать* уже подразумевает взятки. Секретарь в комедии «Ябеда» поет:

*Бери, тут нет большой науки;
Бери, что только можешь взять:
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтобы брать, брать, брать?*

Тут дальнейших объяснений не требуется: известно, о каком *бранье* речь идет. Глагол *пить* также сам собою равняется глаголу пьянствовать. Эти общеупотребляемые у нас подразделения не лишены характерного значения. Другой начальник говорил, что когда придется ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слова *достойн* и *способен*, то часто хотелось бы ему прибавить: «способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения».

* * *

Говоруны (не болтуны, это другое дело, а разговорщики, рассказчики) выводятся нынче не только у нас, где их всегда и было не много, но и везде. Даже во Франции, которая была их родиной и землей обетованной, нынче они редки, хоть и были прежде в большом почете. Перед ними раскрывались настезь двери всех аристократических и умных салонов; везде теснился около них кружок отборных и внимательных слушателей. Раскройте французские мемуары последней половины минувшего столетия и вы увидите, какой славой, в придачу к их литера-

турной известности, пользовались в парижских салонах Дидеро, Дюкло, Шамфор и др. Талейран говорил, что кто не знал парижских салонов за пятнадцать и двадцать лет до революции, тот не может иметь понятия о всей прелести общежития. Талейран и сам был корифеем в этом кругу представителей XVIII века. У нас в конце прошлого века и в начале нынешнего даром слова и живостью рассказа отличался князь Белосельский. Вот один из его рассказов.

Проездом через Лион в Турин, куда был назначен он посланником, пошел князь бродить по городу. В прогулке своей заблудился он в городских улицах и никак не мог отыскать гостиницу, в которой остановился. Не зная ни названия гостиницы, ни названия улицы, на которой она стоит, не мог он даже справиться у прохожих, как бы до нее добраться.

Усталый и раздосадованный, остановился он перед домом, блистательно освещенным, откуда долетали до него звуки речей, хохот и музыка оркестра. Он решился войти в дом, назвал себя и просил дозволения участвовать в веселом торжестве. Хозяин, высокого роста и дюжий мужчина, вежливо принял его и сказал, что очень рад неожиданному посещению. Князь принял участие в танцах, а после приглашен был сесть за ужин между хозяином и другими гостями такого же плотного сложения.

Посреди самой веселости в этом обществе отзывалось что-то суровое и тяжелое. Невольно сдавалось, что собеседники силятся отвлечь себя от каких-то мрачных дум и неприятных воспоминаний; казалось, что они не веселятся, а стараются временно выбраться из-под гнета вчерашнего и завтрашнего дня. Всё это подстрекало любопытство князя и занимало его. Добродушно чокался он с соседями своими и внутренне радовался, что случайно набрел на такую картину.

Между тем провожатый его (или лон-лакей), который где-то потерял его из виду и долго искал, напал, наконец, на след его. Он вошел в дом и показался в дверях столовой. Начал он делать князю разные знаки, но князь не замечал их. Наконец, всё стоя в дверях, провожатый громко просил князя выйти к нему.

– Ваше сиятельство! – сказал он ему с расстроенным лицом и дрожащим голосом. – Вы не знаете, где вы находитесь!.. Этот человек, который сидит рядом с вами, по правую руку, он...

– Кто же он?

– Лионский палач.

Князь отскочил от него.

– А другой, сидящий слева... – продолжал лон-лакей.

– А он кто?

– Палач из Монпелье. Эти два исполнителя закона обвенчали детей своих и празднуют их свадьбу.

Хотя это было и ночью, но князь, добравшись до гостиницы, велел тотчас запрячь лошадей в свой дормез и поспешно выехал из города. Долго еще после того мерещились ему два соседа его и обезглавленные тени несчастных, которых они на своем веку казнили. (Рассказ этот помещен в «Записках» графа Далонвиля.)

Что-то подобное случилось в Петербурге с Н.И.Огаревым, которого любили и уважали Карамзин и Дмитриев, назначивший его обер-прокурором в Правительствующий Сенат. Огарев был небогат и очень скромнен в образе жизни своей. По утрам отправлялся он к должности, наняв первого извозчика, который попадал ему навстречу.

Однажды во время такого проезда, на повороте улицы, прохожий что-то закричал извозчику, который тотчас остановился. Прохожий, не говоря ни слова, сел на дрожки и приказал ехать далее. Огарев, большой флегма и к тому же рассеянный, еще немного посторонился, чтобы дать ему возможность покоее усесться. Проехав некоторое расстояние, незнакомец остановил извозчика и слез с дрожек.

Тут Огарев, опомнившись, спросил извозчика:

– Как смел ты без спроса взять еще седока?

– Помилуйте, ваше благородие, – отвечал ванька, – нельзя же было не взять его, ведь это заплечный мастер!

* * *

Русский язык похож на человека, у которого лежат золотые слитки в подвале, а часто нет двугривенника в кармане, чтобы заплатить за извозчика. Поневоле займешь у первого встречного знакомого.

* * *

Говорили однажды о неудобстве и неприличности выставлять целиком в истории, особенно отечественной, события, которые могут породить в читателях и в обществе невыгодные впечатления и заключения: например, суд Петра Великого над сыном, во всей обстановке и со всеми подробностями.

«Конечно, – сказал NN, – исполнение исторической обязанности может в некоторых случаях оказаться тяжело для добросовестного и мягкосердечного историка. Но что же делать! Что было, то было, а следовательно, и есть. Нельзя же очищать, полоть историю как засеянную грядку! Перед нами пример Библии. Конечно, очень прискорбно для человечества, что, так сказать, на другой день мироздания, когда всего только четыре человека имеется на земле, в числе четырех уже нашелся братоубийца; однако первый же летописец человеческого рода не признал нужным утаить это события от сведения потомства».

* * *

Толстой-Американец говорит о ***: «Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душой его покажется блондином». Однажды в Английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением, но, видя, что во всё продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки, им незаслуженные?»

* * *

Госпожа Б. не любила, когда спрашивали ее о здоровье. «Уж увольте меня от этих вопросов, – отвечала она, – у меня на это есть доктор, который ездит ко мне и которому плачу 600 рублей в год».

* * *

На берегу Рейна предлагали А.Л.Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами. «Покорнейше благодарю, – отвечал он, – с горами обращаюсь всегда как с дамами: пребываю у их ног».

* * *

В старые годы один иностранный посол был от двора своего аккредитован при сенате Гамбурга. Ему понадобились деньги, и он просил сенат дать ему займы довольно круглую сумму. Сенат отказал. «Да какое же я при вас аккредитованное лицо, – сказал он с упреком президенту сената, – если не пользуюсь никаким кредитом?!»

* * *

Выражение *квасной патриотизм* шутя пущено было в ход и удержалось. В этом патриотизме нет большой беды. Но есть и *сивушный* патриотизм; этот – пагубен; упаси Боже от него! Он помрачает рассудок, ожесточает сердце, ведет к запою, а запой ведет к белой горячке. Есть сивуха политическая и литературная, есть и белая горячка политическая и литературная.

* * *

Есть у нас грамотеи, которые печатно распинаются за гениальность Белинского. Нет повода сомневаться в добросовестности их, а еще менее подозревать их смиренномудрие; стараться же вразумить их и входить с ними в прения – дело лишнее: им и книги в руки, то есть книги Белинского.

Белинский здесь в стороне; он умер и успокоился от тревожной, а может быть, и трудной жизни своей. Он служил литературе, как мог и как умел. Не он виноват в славе своей, и не ему за нее отвечать. Глядя на посмертных почитателей его, нельзя не задать себе вопроса: до каких бесконечно малых крупинок должны снисходить умственные способности этих господ, которые становятся на цыпочки и карабкаются на подмостки, чтобы с благоговением приложиться к кумиру, изумляющему их своей величавой высотой?

Это напоминает шутку князя Я.И.Лобанова. В старой Москве была замечательно малорослая семья; из рода в род она всё мельчала. «Еще два-три поколения, – говорил он, – и надобно будет, помочив палец, поднимать их с полу, как блески».

* * *

Великий князь Константин Павлович до переселения своего в Варшаву жила обыкновенно летом в Стрельне своей. Там квартировали и некоторые гвардейские полки. Одним из них, кажется, Конногвардейским, начальствовал Раевский (не из фамилии, известной по 1812 году). Он был краснобай и балагур; был в некотором отношении лингвист, по крайней мере обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении, например, *пропустить за галстук*, *немного подшофе* (*echauffb*) и пр. Всё это по словотолкованию его значило, что человек лишнее выпил, подгулял. Ему же, кажется, принадлежит выражение *в тонком*, то есть в плохих обстоятельствах.

Великий князь забавлялся шутками Раевского. Часто во время пребывания в Стрельне заходил он к нему в прогулках своих. Однажды застал он его в халате. Разумеется, Раевский бросился бежать, чтобы одеться, но великий князь остановил его, усадил и разговаривал с ним полчаса. В продолжение лета несколько раз заставлял он его в халате, и мало-помалу попытки облечь себя в мундир и извинения, что застигнут врасплох, выражались всё слабее и слабее. Наконец стал Раевский в халате принимать великого князя уже запросто, без всяких оговорок и околичностей.

Однажды, когда он сидел с великим князем в своем утреннем наряде, Константин Павлович сказал:

– Давно не видал я лошадей. Отправимся в конюшни!

– Сейчас, – отвечал Раевский, – позвольте мне одеться!

– Какой вздор! Лошади не взыщут, можешь и так явиться к ним. Поедем! Коляска моя у подъезда.

Раевский просил еще позволения одеться, но великий князь так твердо стоял на своем, что делать было нечего. Только что уселись они в коляске, как великий князь закричал кучеру: «В Петербург!» Коляска помчалась. Доехав до Невского проспекта, Константин Павлович приказал кучеру остановиться, а Раевскому сказал: «Теперь милости просим, изволь выходить!» Можно представить себе картину: Раевский в халате, пробирающийся пешком сквозь толпу многолюдного Невского проспекта.

Какую мораль вывести из этого рассказа? А вот какую: не должно никогда забываться перед высшими и следует строго держаться этого правила вовсе не из порабощения и низкоклонства, а напротив – из уважения к себе и из личного достоинства.

Майор старого времени дивился в начале нынешнего столетия развязности молодых офицеров в отношении к начальству. «В наше время, – говорил он, – было не так. Однажды представлялся я фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому. “Что скажешь новенького?” – спросил он меня. А я поклонился да молчу. Граф, чем-то, по-видимому, озабоченный, изволил задумчиво ходить по комнате. Проходя мимо меня, он несколько раз повторил тот же вопрос, а я всё по-прежнему поклонюсь и молчу. Наконец он сказал: “Если будешь всё молчать, то можешь и убраться прочь”. Я поклонился и вышел».

Пример этого майора и пример Раевского вдаются в крайности; но если непременно выбирать один из двух, то лучше следовать первому, чем второму: в поклонах и молчании майора более благоразумия, даже личного достоинства, нежели в халатной бесцеремонности Раевского.

* * *

Великий князь Константин Павлович очень любил театр. Охотно и часто присутствовал он в Варшаве на спектаклях польских и французских. Как на одной, так и на другой сцене бывали превосходные актеры. Великий князь особенно благоволил к ним и вообще милостиво с ними обращался.

Французский комик Мере был увлекателен: нельзя было быть и умнее, и глупее него в ролях простачков. Он часто смешил своей важностью и серьезностью, а шутка его никогда не доходила до шутовства и скоморошества. Он схватывал натуру живьем и передавал ее зрителям в истинном, но вместе с тем и в высокохудожественном выражении. Вот настоящее искусство актера: быть истинным до обмана или обманчивым до истины. Великий князь очень ценил дарование Мере и любил его.

Однажды бедный Мере, по недогадке, очутился между рядами солдат на Саксонской площади, во время парада, в присутствии великого князя. На парадном плацу и во время развода его высочеству было не до шутки. Всеобъемлющим взглядом своим усмотрел он Мере и, как нарушителя военного благочиния, приказал свести его на гауптвахту. Разумеется, задержание продолжалось недолго: после развода великий князь велел его выпустить.

На другой день Мере разыгрывал в каком-то водевиле роль солдата Национальной гвардии, которому капитан грозит арестом за упущение по службе. «Нет, это уже чересчур скучно (говорит Мере, разумеется, от себя): вчера на гауптвахте, сегодня на гауптвахте; это ни на что не похоже!»

Константин Павлович смеялся этой шутке, но, встретясь с актером, сказал ему: «Ты, кажется, напрашиваешься на третий арест».

* * *

Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Ц. Во время проливного дождя является он к приятелю.

– Ты в карете? – спрашивают его.

– Нет, я пришел пешком.

– Да как же ты вовсе не промок?

– О, – отвечает он, – я умею очень ловко пробираться между каплями дождя.

Императрица Екатерина отправляет его курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубой. Нечего уже и говорить о быстроте, с которой проехал он это пространство: подобные курьерские рассказы впадают в обыкновенную и пошлую прозу. Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает:

– А где же шуба?

– Здесь, ваша светлость! – и вынимает из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее раза два и подал князю.

В трескучий мороз идет он по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыню. Он в карман, а денег нет. Тогда наш герой снимает с себя бекешу на меху и отдает нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударяет его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф встает перед ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил, но этот поступок твой один искупит многие грехи твои. Поверь мне, я никогда не забуду его!»

Польский граф Красинский был также вдохновенным и замысловатым поэтом в рассказах своих. Речь его была живой и увлекательной. Видимо, он сам наслаждался своими импровизациями.

Бывают лгуны как-то добросовестные, боязливые, они запинаятся, краснеют, когда лгут. Эти никуда не годятся. Как надобно иметь *смелость мнения своего*, так нужно иметь и *смелость лжи своей*; в таком только случае она удается и обольщает.

Две приятельницы (рассказывал Красинский) встретились после долгой разлуки где-то неожиданно на улице. Та и другая ехали в каретах. Одна из них, не заметив, что стекло поднято, опрометью кинулась к окну, пробила стекло головой, так, что оно насквозь перерезало ей горло и голова скатилась на мостовую перед самой каретой ее искренней приятельницы.

Одного умершего положили в гроб, который заколотили и вынесли в склеп в ожидании отправления куда-то на семейное кладбище. Через несколько времени гроб открывается. Что же тому причиной? – «Волосы, – сообщает граф Красинский, – и борода; так разрослись у мертвеца, что вышибли крышку гроба».

Граф был человек блестящей храбрости, но вдохновение было храбрее самого действия. После удачного и смелого нападения на неприятеля, совершенного конным полком под его командой, прискакивает к нему на месте сражения Наполеон и говорит: «Винцент, я награждаю тебя звездой!» И тут же снимает с себя звезду Почетного легиона и надевает на него.

– Как же вы никогда не носите этой звезды? – спросил его один простодушный слушатель.

Опомнившись, Красинский отвечал:

– Я возвратил ее императору, потому что не признавал действия моего достойным подобной награды.

Однажды занесся он в рассказе своем так далеко и так высоко, что, не зная как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Вылежинского, адъютанта своего, тут же

находившегося. «Ничего сказать не могу, – заметил тот. – Вы, граф, вероятно, забыли, что я был убит при самом начале сражения».

* * *

Лев Пушкин (брат Александра) рассказывал, что однажды зашла у него речь с Катениным о Крылове. Катенин сильно нападал на баснописца и почти отрицал дарование его. Пушкин, разумеется, опровергал нападки. Катенин, известный самолюбием своим и заносчивостью речи, всё более и более горячился.

– Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова.

– Нисколько. Сужу о нем и критикую его с одной литературной точки зрения.

Спор продолжался.

– Да он и нехороший человек, – сорвалось у Катенина с языка. – При избрании моем в Академию этот подлец, один из всех, положил мне черный шар.

* * *

Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих, но не в его натуре было становиться хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал родителям, редко и бывал у них, когда жил с ними в одном городе.

– Давно ли видел ты отца? – спросил его однажды NN.

– Недавно.

– Да как ты понимаешь это? Может быть, ты недавно видел его во сне?

Пушкин был очень доволен этой уверткой и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе.

Отец его, Сергей Львович, был также в своем роде нежный отец, но нежность его черствела в виду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его, Лев, за обедом у него разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал.

– Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?

– Извините, сударь, – с чувством возразил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек!

* * *

«Я недаром презираю людей, – говорил кто-то, – это стоит мне несколько сот тысяч рублей, которые роздал я неблагодарным».

* * *

...Император Павел очень прогневался однажды на английское правительство. В первую минуту гнева посылает он за графом Ростопчиным, который заведовал в то время внешними делами, и приказывает ему изготовить немедленно манифест о войне с Англией. Ростопчин, пораженный как громом такой неожиданностью, начинает, со свойственной ему откровенностью и смелостью в отношениях к государю, излагать перед ним всю несвоевременность подобной войны, все невыгоды и бедствия, которым может она подвергнуть Россию. Государь выслушивает возражения, но на них не соглашается и им не уступает. Ростопчин умоляет императора по крайней мере несколько обождать, дать обстоятельствам возможность и время принять дру-

гой, более благоприятный оборот. Все попытки, все усилия министра напрасны: Павел, отпуская его, приказывает ему поднести на другой день утром манифест к подписанию.

С сокрушением и скрепя сердце, Растопчин вместе с секретарями своими принимается за работу. Приехав, спрашивает он у приближенных, в каком настроении государь. Хотя тайны при дворе, по-видимому, и хранятся герметически закупоренными, но всё же частичками они выдыхаются, разносятся по воздуху и след свой в нем оставляют. Все приближенные к государю лица, находившиеся в приемной перед кабинетом комнате, ожидали с взволнованным любопытством и трепетом исхода этого доклада. Он начался.

По прочтении некоторых бумаг государь спрашивает:

– А где же манифест?

– Здесь, – отвечает Растопчин (он уложил его на дно портфеля, чтобы дать себе время осмотреться и, как говорят, ощупать почву).

Дошла очередь и до манифеста. Государь очень доволен редакцией. Растопчин пытается опять отклонить царскую волю от меры, которую признает пагубной; но красноречие его так же безуспешно, как и накануне. Император берет перо и готовится подписать манифест. Тут блеснул луч надежды зоркому и хорошо изучившему государя глазу Растопчина. Обыкновенно Павел скоро и как-то порывисто подписывал имя свое. Тут он подписывает медленно, как бы рисует каждую букву. Затем говорит Растопчину:

– А тебе очень не нравится эта бумага?

– Не умею и выразить, как не нравится.

– Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил?

– А всё, что будет угодно вашему величеству. Например, пропеть арию из итальянской оперы. – И он называет арию, особенно любимую государем, из оперы, имя которой не упомяну.

– Ну так пой! – говорит Павел Петрович. И Растопчин затягивает арию с разными фиоритурами и коленцами. Император подтягивает ему, а после пения раздирает манифест и отдает лоскутки Растопчину.

Можно представить себе изумление тех, кто в соседней комнате ожидал с тоскливым нетерпением, чем разразится этот доклад.

* * *

В одном маленьком французском журнале рассказываются два следующих анекдота из царствования Павла.

Паж Копьев бился об заклад с товарищами, что потрянет косу императора за обедом. Однажды, будучи дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал:

– Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее.

– Хорошо сделал, – сказал государь, – но всё же мог бы ты сделать это осторожнее.

Тем всё и кончилось.

В другой раз Копьев бился об заклад, что понюхает табак из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос.

– Что ты делаешь, пострел? – с гневом говорит проснувшийся государь.

– Нюхаю табак, – отвечает Копьев. – Вот восемь часов что дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью.

– Ты совершенно прав, – говорит Павел, – но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе.

Анекдот о косе известен в России; но, кажется, смелую шалость эту приписывали князю Александру Николаевичу Голицыну. Другой анекдот не очень правдоподобен, но, вероятно, и он перешел к французам из России. Не ими же выдуман он. Откуда им знать Копьева? Копьев был большой проказник, это известно. Что он не сробел бы выкинуть такую шутку, и это не подлежит сомнению; но был ли он в том положении, чтобы подобная проказа была доступна ему? Вот вопрос. И ответ, кажется, должен быть отрицательный. Сколько нам известно, Копьев никогда не был камер-пажом и по службе своей не находился вблизи ко двору.

Копьев был столько же известен в Петербурге своими остроумиями и проказами, сколько и худобой своей малокормленной крепостной четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком в том же направлении. Копьев предлагает довести его. «Благодарю (отвечал тот), но не могу: я спешу».

* * *

Когда перед 1812 годом был выстроен в Москве Большой театр, граф Растопчин говорил, что это хорошо, но недостаточно: нужно купить еще 2000 душ, приписать их к театру и завести между ними род подушной повинности, так чтобы по очереди высылать по вечерам народ в театральную залу; на одну публику надеяться нельзя.

Страсть к театру развилась в публике позднее; но и тогда уже были театралы и страстные сторонники то русских актеров, то французских. В числе первых был некто Гусятников, человек зрелых лет и вообще очень скромный. Он вышел из купеческого звания, но мало-помалу приписался к лучшему московскому обществу и получил в нем оседлость. Он был большой поклонник певицы Сандуновой. Она тогда допевала в Москве арии, петые ею еще при Екатерине II, и увлекала сердца: во время оно она заколдовала сердце старика графа Безбородки, так что даже вынуждена была во время придворного спектакля жаловаться императрице на любовные преследования седого волокиты. Гусятников был обожатель более скромный и менее взыскательный.

В то время, о котором говорим, приехала из Петербурга в Москву на несколько представлений известная Филис Андрие. Русская театральная партия взволновалась от этого иноплеменного нашествия и вооружилась для защиты родного очага. Поклонник Сандуновой Гусятников стал, разумеется, во главе оборонительного отряда. Однажды приезжает он во французский спектакль, садится в первый ряд кресел и, только что начинает Филис рулады свои, всенародно затыкает себе уши, встает с кресел и с заткнутыми ушами торжественно проходит всю залу, кидая направо и налево взгляды презрения и негодования на недостойных *французолобцев* (как нас тогда называли с легкой руки Сергея Глинки, доброго и пламенного издателя «Русского Вестника»).

* * *

Муж Сандуновой был тоже актер, публикой любимый. Одновременно брат его был известный обер-секретарь. Братья были дружны между собой, что не мешало им подтрунивать друг над другом.

– Что это давно не видать тебя? – говорит актер брату своему.

– Да меня видеть трудно, – отвечал тот, – утром сажу в Сенате, вечером дома за бумагами; вот тебя, дело другое, каждый, когда захочет, может увидеть за полтинник.

– Разумеется, – говорит актер, – к вашему высокородию с полтинником не сунешься.

Луи-Филипп часто сетовал с огорчением о нерасположении к нему одного из могущественнейших европейских владык. Тьер старался успокоить его и наконец сказал:

– Да делайте то, что академик Сюар делал с женой своей.

– А что же он делал?

– Она была очень брюзглива и часто изыскивала средства тормозить и мучить его. Бывало ночью, когда он спит, она разбудит его и скажет: «Сюар, я не люблю тебя». – «Ничего, – отвечает он, – полюбишь после», – переворачивается на бок и тут же засыпает. Часа два спустя она снова будит его и говорит: «Сюар, я другого люблю». – «Ничего, – отвечает он, – после разлюбишь», – перевернется на бок и опять засыпает.

* * *

Кто-то спрашивал у сельского священника, отчего воспрещается отцу быть при крещении ребенка своего. Священник немного призадумался и наконец сказал: «Полагаю, от того, что совесть убивает».

* * *

При А.М.Пушкине говорили о деревенском поверье, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его. «Как я этому рад, – прервал Пушкин, – теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу: обидел его таракан».

* * *

Необразованный человек особенно выдаетя в высокомерии и самохвальстве своем. Бывают самолюбивы и люди с умом и дарованием, но они из благоприличия стараются сдерживать себя. Воспитание, обхождение с людьми, принадлежащими высшей среде в умственном и общественном отношении, умеряют и обуздывают эти дикие порывы собственного идолопоклонства. Восточные народы самохвальны, потому что невежественны. Литература, которая с презрением и свысока отзывается о литературах иностранных, принадлежит, по этнографическим условиям, к восточной полосе земного шара.

Один отец, весьма остроумный и практический, говорил с умилением и родительским самодовольством: «Мой сын именно настолько глуп, насколько это нужно, чтобы успеть и на службе, и в жизни. Менее глупости было бы недостатком, более – было бы излишеством. Во всем нужны мера и середка, а сын мой на них и напал».

* * *

Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек».

Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил Тургенева.

Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границей и что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с пароходами из Любека и Любек был первым иностранным городом, ими посещаемым.

* * *

Один французский писатель, помнится, Жоффре, в книге «Екатерина II и царствование ее», рассказывает следующее.

Екатерина часто повторяла: «Глаз хозяина откармливает лошадей». Она умела расспрашивать и выслушивать. «Разговор с невеждами, – говорила она, – иногда более научит, нежели разговор с учеными. Этим господам стыдно было бы не дать ответа и по таким вопросам, о которых они понятия не имеют. Они никогда не решатся выговорить эти два слова, столь удобные нам, невеждам: “не знаю”».

Однажды, путешествуя по берегам Волги, она спросила жителей, довольны ли они своим положением. Большая часть из них были рыбаки.

– Мы очень были бы довольны заработками своими, – отвечали они, – если бы не обязаны были отсылать в конюшни вашего величества значительное количество стерлядей, а стерляди очень дороги.

– Хорошо сделали вы, – отвечала императрица, улыбаясь, – что уведомили меня об этом; а я до сей поры и не знала, что лошади мои едят стерлядей. Постараемся это дело поправить.

Вот и другой случай под стать стерлядям. У кого-то из царской фамилии, кажется, у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветовали помазать себе нос на ночь салом, и была приготовлена сальная свеча. С того дня в продолжение года, если не далее, ежедневно отпускали из дворцовой конторы по пуду сальных свечей – «на собственное употребление его высочества».

Кажется, ААНарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу.

– Нет вакансии, – отвечали ему.

– Да пока откроется вакансия, – говорит проситель, – определите меня к смотрению хотя бы за какой-нибудь канарейкой.

– Что же из этого будет? – спросил Нарышкин.

– Как что? Все-таки будет, чем прокормить себя, жену и детей.

Он же рассказывал, что один камер-лакей при выходе в отставку просил, за долговременную и честную службу, отставить его, «не в пример другим», арапом. В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради Бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенной эпиграммы: здесь просто сказано, что жалованье, получаемое арапами, превышает жалованье прочей прислуги.

* * *

Князь Иван Голицын (*Jean de Paris*) рассказывал следующее, слышанное им от князя Платона Зубова. Императрица Екатерина была недовольна английским правительством за некоторые неприязненные изъявления против России в парламенте. В то время английский посол просил у нее аудиенции и был призван во дворец. Когда вошел он в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него, и посол немного смутился. «Не бойтесь, милорд, – сказала императрица, – собака, которая лает, не кусается и неопасна».

Вот и другой рассказ из того же источника. В день восшествия на престол Екатерины II прискакала она в Измайловскую церковь для принятия присяги. Второпях забыли об одном: об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Не знали, что и делать. При таком замешательстве кто-то в числе присутствующих, одетый в синий сюртук, выходит из толпы и предлагает окружающим царицу помочь в этом деле и произнести манифест. Соглашаются. Он вынимает из кармана белый лист бумаги и, словно по писанному, читает экспромтом манифест,

точно заранее изготовленный. Императрица и все официальные слушатели в восхищении от этого чтения.

Под синим сюртуком был Волков, впоследствии знаменитый актер. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию с обращением ее и на всё потомство Волкова. Император Павел прекратил эту пенсию.

Нужно бы удостовериться в истине этого рассказа. Я большой Фома Неверующий в отношении к анекдотам. Люблю слушать и читать их, когда они хорошо пересказаны, но не доверяю им до законной пробы. Анекдоты, даже и настоящие, часто оказываются не без лигатуры и лживого чекана. Анекдотисты когда и не лгут, редко придерживаются буквальной и математической верности. Анекдоты их, с продолжением времени, являются в новых изданиях, исправленных или измененных и значительно умноженных.

В истории люблю одни анекдоты, говорит Проспер Мериме. Наша русская история, к сожалению, малоанекдотична, особенно с тех пор, что хотят демократизировать историю. Полевой думал, что создает новую русскую историю, потому что назвал худо сваренное творение свое «Историей Русского народа»; на деле же всё являются отдельные лица. Народ в истории то же, что хоры в древней греческой трагедии: действие и содержание сосредотачиваются в действующих лицах, которые возвышаются над народом и господствуют над ним, хотя бы из него истекли.

* * *

Некто говорил о ком-то: он моя правая рука. «Хороша же, в таком случае, должна быть его левая», – сказал на это едкий граф Аркадий Морков.

Дмитриев – беспощадный подглядатай (почему не вывести этого слова из *соглядатаи!*) и ловец всего смешного. Своими заметками делится он охотно с приятелями. Строгая физиономия его придает особое выражение и, так сказать, пряность малейшим чертам мастерского рассказа его.

Однажды заехал он к больному и любезному нашему Василию Львовичу Пушкину. У него застал он провинциала. «Разговор со мной, – говорит он, – обратился, разумеется, на литературу. Провинциал молчал. Пушкин, совестясь, что гость его остается как бы забытый, вдруг выпучил глаза на него и спрашивает: “А почему теперь овес?” Тут же обернулся он ко мне и, глядя на меня, хотел как будто сказать: не правда ли, что я находчив и как хозяин умею приновить к каждому речь свою?»

Кто не слышал Дмитриева, тот не знает, до какого искусства может быть доведен русский разговорный язык. Впрочем, и он при случае употреблял французские слова. Можно полагать, что говорил он исключительно по-русски не из принципа, а из опасения не иметь довольно правильный и чистый французский выговор.

* * *

Д.П.Бутурлин рассказывал, что в отроческих годах ездил с отцом своим по соседству в деревню к известному Новикову. У того был вроде секретаря молодой человек из крепостных, которому дал он некоторое образование. Он и при гостях всегда обедал за одним столом с бариним своим.

В одно лето старик Бутурлин, приехав к Новикову, заметил отсутствие молодого человека и спросил, где же он. «Он совсем избаловался, – отвечал Новиков, – и я отдал его в солдаты».

Вот вам и либерал, мартинист, передовой человек! А нет сомнения, что Новиков в свое время во многих отношениях был передовым либералом в полном значении нынешнего выражения. Что же следует из того вывести? Ничего особенного и необыкновенного. Поступок

Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям либералов. Он и в самом деле неблагоприятен и бросает некоторую тень «на личность Новикова». Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев.

Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или другому вопросу, каковым был Новиков, например, по вопросу печати и журналистики, а вместе с тем быть по иным вопросам строгим охранителем и сторонником порядков и учреждений не только нынешних, но и вчерашних.

Подобные примеры часто встречаются в Англии, в сей стране законной и общедоступной свободы. Тори, например, стоит за такое-то либеральное преобразование, а виг отстаивает законную меру старую, именно потому, что она старая. Многие этого не понимают, и им кажется, что уже если быть передовым, то надобно захватывать на лету каждую новизну и пускаться с нею или за нею в скачку с препятствиями, без оглядки и без передышки. Уж если быть либералом, говорят они, то быть круглым дураком, а круглых умников не видеть. Человеческий ум не бывает со всех сторон правильно обточен, всё же где-нибудь отыщется угловатость или зазубрина.

Вот еще пример того, что каждая медаль имеет свою оборотную сторону, каждая лицевая – свою изнанку.

Лопухин (Иван Владимирович), мартинист, приятель и сподвижник Новикова, был также в свое время передовым человеком. Чувство благочестия и человеколюбия было ему родно. Он был милостив и щедролюбив до крайности, именно до крайности. Одной рукой раздавал он милостыню, другой занимал он деньги направо и налево и не платил долгов своих; облегчая участь иных семейств, он разорял другие. Он не щадил и приятелей своих, и товарищей по мартинизму. Вдова Тургенева, мать известных Тургеневых, долго не могла выручить довольно значительную сумму, которую Лопухин занял у мужа ее. Нелединский, товарищ его по Сенату, ездивший с ним на ревизию в одну из южных губерний, так объяснял нравственное противоречие, которое оказывалось в характере его. По мистическому настроению своему Лопухин вообразил себе, что он свыше послан на землю для уравновешения общественных положений: он брал у одного и отдавал другому.

Один пастор венчал двух молодых весьма невзрачной и непривлекательной наружности. По совершении обряда сказал он им напутственную речь и, между прочим, следующее: «Любите друг друга, мои дети, любите крепко и постоянно, потому что если не будет в вас взаимной любви, то кой черт может вас полюбить».

Это приветствие мне всегда приходит на мысль, когда Z выхваляет X, а X выхваляет Z.

* * *

– У меня из ума не выходит... (кто-то начал так свой рассказ).

– Ты хочешь сказать, из головы, – перебил его NN.

* * *

Поццо ди Борго в тридцатых годах спрашивал приезжего из Петербурга, что делается нового в русской правительственной среде. В то время были на очереди учреждение министерства государственных имуществ и все преобразования, которые ожидались от него.

«Это всё очень хорошо, – сказал наш посол, – но боюсь торопливости, с которой покушаются у нас на государственные нововведения. На всё нужно (говорил он) законное и плодотворное содействие времени; иначе будешь походить на человека, которому желательно быть

отцом и который говорил бы беременной жене своей: “У меня не станет терпения выждать девятимесячного срока, сделай милость, постарайся родить пораньше”».

Поццо очень скучал пребыванием в Лондоне. Он на старости никак не мог свыкнуться и ужиться с английскими обычаями и обществом. В Англии всё высшее общество живет много в поместьях своих или кочует по европейскому матерiku. Англичане и большие домоседы, и большие туристы и космополиты. В Лондоне, что называется, *high life* съезжается только на сезон, который продолжается несколько летних недель. Осенью все лорды, весь *fashion* отправляется опять путешествовать или в поместья на охоту. Лондон пустеет. Особенно эта пора тяжела для Поццо: ему нужен Париж с его гостеприимными салонами под председательством умной и образованной хозяйки.

Поццо был любезный и блестящий разговорщик. Ему нужна парижская аудитория, он по ней тосковал и напрасно искал ее в Лондоне. Утром занимался он европейскими делами (а может быть, и своими, но не в ущерб России). Вечером же не находил он салона, в котором мог бы дать волю своей живой и остроумной речи; не находил слушателей, которые понимали бы его и своими отзывами умели бы подстрекать его и выкликать воспоминания из его богатой и словоохотливой памяти. Лишенный всего этого, говорил он с меланхолической забавностью: «Хоть козу одели бы в женское платье и засадили в салоне, я знал бы, по крайней мере, куда деваться с вечерами своими».

С горя играл он по вечерам в вист по самой ничтожной цене и забавно сердился, когда проигрывал. Однажды сданные карты показались ему так плохи, что он бросил их на стол, говоря, что проиграл партию. Николай Киселев (советник при посольстве) сказал, что карты вовсе не так худы и даже легко леве¹³ останется за ним. Надобно было видеть, с какой детской радостью и торопливостью кинулся он подбирать разбросанные по столу карты и продолжал игру.

Он очень был любим своими подчиненными: обращался с ними просто и дружелюбно, никаких начальнических приемов и повадок у него не было. В жизни своей он более делал дело, чем исправлял службу, а потому мало и знал он канцелярские порядки и вообще официальную обстановку с ее обрядами и буквальными принадлежностями. Однажды приглашен он был к обеду во дворец с Киселевым, только что поступившим в посольство. Не зная лондонских обычаев, Киселев спросил графа, как следует ему одеться.

– Черный фрак, белый галстук, – отвечал тот, – и с орденской лентой по жилету.

– Да у меня никакой ленты нет, – возразил Киселев.

– Ну так что же, – сказал Поццо, – все-таки наденьте какой-нибудь орден.

Это напоминает одного богатого американца, который в 1830-х годах приезжал в Петербург с дочерью-красавицей. Красота ее открыла им доступ в высшее общество.

Это было летом: в это время года законы этикета ослабевают. Отец и дочь приглашались и на петергофские балы. В особенных официальных случаях являлся он в морском американском мундире, поэтому когда из вежливости обращались к нему, то говорили о море, о флотах Соединенных Штатов и так далее. Ответы его были всегда уклончивы, и отвечал он как будто неохотно.

– Почему вы меня все спрашиваете о морских делах? Всё это до меня не касается, я вовсе не моряк.

– Да как же носите вы морской мундир?

– Очень просто. Мне сказали, что в Петербурге нельзя обойтись без мундира. Собираясь в Россию, я на всякий случай заказал себе морской мундир, вот в нем и щеголяю, когда требуется.

¹³ Взятка. – Прим. ред.

* * *

NN говорит, что ему жалки люди, которые книгу жизни прочитывают от доски до доски с напряженным вниманием и добросовестным благоговением: они обыкновенно остаются в дураках. Жизнь надобно слегка перелистывать, ловко и вовремя выхватывать из нее то, что найдешь в ней хорошего и по вкусу, а прочее пропускать, не задумываясь на нем.

* * *

Наталья Кирилловна Загряжская, урожденная графиня Разумовская, по всем принятым условиям общежитием и по собственным свойствам своим долго занимала в петербургском обществе одно из почетнейших мест. В ней было много своеобразия, обыкновенной принадлежности людей (а в особенности женщин) старого чекана. Кто не знал этих барынь минувшего столетия, тот не может иметь понятия об обольстительном владычестве, которое присваивали они себе в обществе и на которое общество отвечало сознательным и благодарным покорством. Иных бар старого времени можно предать на суд демократической истории, которая с каждым днем всё выше и выше поднимает голос свой, но не трогайте старых барынь! Ваш демократизм не понимает их. Вам чужды их утонченные свойства, их язык, их добродетели, самые слабости их недоступны вашей грубой оценке.

Во многих отношениях Н.К. Загряжская не чужда была современности, но в других сохранила отпечаток старины, отпечаток, так часто и легко сглаживаемый у других действием общественных преобразований и просвещения, или того, что называется просвещением. Упорная, упрямая натура нехороша, но нельзя не любоваться натурами, которые при законных и нужных уступках господству времени имеют в себе довольно сил и живучести, чтобы отстоять и спасти свою внутреннюю личность от требований и самовластных притязаний того, что называется новыми порядками или просто модой.

В новом обществе, в доме родственников своих, князя и княгини Кочубеевых, у которых она жила, Загряжская была какой-то исторической представительницей давно прошедших времен и царствий. Она была как эти старые семейные портреты, писанные кистью великого художника, которые украшают стены салонов новейшего поколения. Наряды, многие принадлежности этих изображений давным-давно отжили, но черты лица, но сочувственное выражение физиономии, обаяние творчества, которое создало и передало потомству это изображение, – всё это вместе пробуждает внимание и очаровывает вас. Вы с утонченным и почтительным чувством удовольствия вглядываетесь в эти портреты, вы засматриваетесь на них; вы, так сказать, их заслушиваетесь. Так и Пушкин заслушивался рассказов Натальи Кирилловны: он ловил в ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с ней находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую, потому что и в истории много истинной и возвышенной поэзии, и в поэзии есть своя доля истории. Некоторые драгоценные частички этих бесед им сохранены, но самое сокровище осталось почти непочатым.

Все мы, люди старого поколения, грешили какою-то беззаботностью, отсутствием скопидомства. Мы проживали, тратили вещественные наследства наших отцов; не умели сберечь и умственные наследства, ими нам переданные. Сколько капиталов устной литературы пропустили мы мимо ушей! Мы любили слушать стариков, но не умели записывать слышанное нами, то есть не думали о том, чтобы записывать. Поневоле и приходится сказать, с пословицей: *глупому сыну не е помощь богатство*.

Теперь и рады бы мы записывать текущую жизнь, но, по выражению типографического, не хватает оригиналу.

В числе старинных примет, отличавших покойную Загряжскую, можно привести и отношения ее к прислуге своей. Она очень боялась простуды, и, в прогулках ее пешком по городу, старый лакей нес за ней несколько мантилий, шалей, шейных платочков; смотря по температуре улицы, по переходу с солнечной стороны на тенистую и по ощущениям холода и тепла, она надевала и скидывала то одно, то другое. Однажды, возвратясь домой с прогулки, она, смеясь, рассказала разговор свой с лакеем. На требование ее он как-то замешкался в подаче того, что она просила.

– Да подавай же скорее! – сказала она с досадой. – Как надоел ты мне.

– А если бы знали вы, матушка, как вы мне надоели, – проворчал старый слуга, перебирая гардероб, которым был навьючен.

* * *

При переводе К.Я.Булгакова из московских почт-директоров в петербургские, обер-полицеймейстер Шульгин говорил брату его Александру: «Вот мы и братца вашего лишились. Всё это комплот против Москвы. Того гляди и меня вызовут. Ну уж если не нравится Москва, так скажи прямо: я берусь выжечь ее не по-французски и не по-растопчински, а по-своему, так после меня не отстроят ее во сто лет».

Он же говорил: «Французы – ужасные болтуны и очень многословны. Например, говорят они: “Коман ву порте ву?” К чему эти два *ву!* Не проще ли сказать: “Коман порте?” И так каждый поймет».

* * *

При выборах в Московском дворянском собрании князь Д.В.Голицын в речи своей сказал о выбранном совестном судье: сей, так сказать, неумытный судья. Ему хотелось сказать *неумолимый*, но Мерзляков не одобрил этого слова и предложил *неумытный*. «И поневоле неумытный, – сказал Дмитриев, – он умываться не может, потому что красит волосы свои».

Полевой написал в альбоме госпожи Карлгоф стихи под заглавием: «Поэтический анахронизм, или Стихи в роде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в XIX веке». И какие же это стихи в роде Дмитриева! Вот образец:

*Гостиная – альбом,
Паркет и зала с позолотой —
Так пахнут скукой и зевотой.*

Паркет *пахнет зевотой*! Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличий, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными и образцовыми стихами Дмитриева! А есть люди, которые смотрели, есть такие, которые смотрят и ныне на Полевого как на критика и на литературного судью. Полевой был просто смысленый русский человек. Он завел литературную фабрику на авось, как завел бы ситцевую или всякую другую мастерскую. Не очень искусный и совестливый в работе своей, он выказывал товар лицом людям, не имеющим никакого понятия о достоинстве товара. Опять, как русский человек, надувал он их немножко, как следует надувать русских потребителей. Почему же и нет? Это в порядке и шло благополучно. Товар по мастерскому, и покупатель по товару. Так вообще идут две трети всякой торговли.

* * *

Когда Магницкий второй ссылкой своей был сослан в Ревель, Сперанскому были приписаны следующие слова: «Как можно посылать Магницкого в Ревель? Туда ездят за здоровьем, а он присутствием своим и воздух заразит¹⁴».

Вот как нередко развязываются политические дружбы и связи!

Неизвестно, до какой степени Магницкий способен был заразить воздух, но, по слухам, в ссылочных пили-гримствах своих он затронул не одно женское сердце. Он и в Ревеле был еще видный, статный и красивый мужчина. Черты лица правильные, лицо выразительное, взгляд уклончивый и вместе с тем вкрадчивый. Внешние приемы его отличались изящностью, щегольством, вежливостью и навыком к избранному обществу. Какие ни были бы политические замыслы его, наружность и обращение его постоянно имели отпечаток аристократический, свойственный всем благовоспитанным людям того времени. Одним словом, был виден в нем светский человек, в хорошем и полном значении, чего не было в Сперанском ни в первой поре возвышения, ни во второй поре восстановления его.

Всегда более или менее выказывалась родовая оболочка Сперанского. Впрочем, должно заметить, что по крайней мере в последнем периоде своем он был отменно вежлив и предупредителен. С людьми, отличающимися умственными способностями или дарованиями, пускал он в ход даже некоторое искусное заискивание и оболыщение. Во время первой силы его, говорили, что при разговоре о вельможах екатерининских времен сказал он: «В наше время вельмож нет и быть не может. Вельможа разве один я». Сказал он это или нет, ни утвердительно, ни отрицательно решить теперь нельзя, но во всяком случае можно признать за истину, что школа испытания, через которую он прошел, была ему на пользу, что, впрочем, и весьма естественно в человеке умном и отрезвившемся от хмеля счастья и фортуны.

Магницкого не знавал я на поприщах государственной деятельности: ни в Петербурге, где он вращался спутником или отблеском светила, то есть Сперанского, ни в Симбирске, где был он губернатором, ни в Казани, где управлял он университетом и учебным округом. Узнал я только Магницкого сосланного, и то видел его всего два раза, или, точнее, один раз: первый – мельком в постороннем доме, другой – у себя, накануне отъезда моего из Вологды. Посещение его продолжалось около двух часов. Он показался мне человеком умным и образованным, с некоторыми оттенками литературы, хотя, впрочем, не знаю почему. Говорил он правильно и бойко как по-русски, так и по-французски.

Озлобления и желчи в нем я не заметил, а также чванства прежнего блеска и чванства падения своего. (Есть люди, которые, так сказать, щеголяют и пыль пускают в глаза опалою своей.) Ничего не было в нем ссыльного: он казался, как и все мы, москвичи, временно выселенным из Москвы, по независимым от него обстоятельствам. И только!

На первых порах знакомства, и, так сказать, при первой встрече со мной, он был довольно откровенен, хотя, разумеется, не вполне разоблачил таинство деятельности Сперанского, которого был он подмастерьем и, так сказать, приказчиком. Не объяснил Магницкий подробно и причины крутого падения обоих.

Общее впечатление, оставшееся во мне после этой беседы, следующее. В замыслах Сперанского не было ничего преступного и, в юридическом смысле, государственно-изменнического, но было что-то предательское в личных отношениях Сперанского к государю. Неограниченная доверенность Александра не встречала в любимце и сподвижнике его пол-

¹⁴ Бывший соратник и подчиненный Сперанского Магницкий Михаил Леонтьевич, став попечителем Казанского университета и придерживаясь в это время уже крайне реакционных взглядов, привел университет к фактическому разгрому. Комиссией, назначенной Николаем I, были обнаружены также большие растраты казенных денег. – *Прим. ред.*

ной взаимности. Напротив, могла встретить она попользование употребить, если не во зло, то нередко через край, эту царскую доверенность.

Кажется, не подлежит сомнению, что в окончательных целях не было единства между императором и министром; сей последний хотел идти далее и в особенности скорее. С другой стороны, в приятельских разговорах, чуть ли даже не в переписке, отпускались шутки, насмешливые прозвища, заимствованные, между прочим, из сказок Вольтера. Всё это, когда сделалось известным, не могло не иметь прискорбного отголоска в чувствах государя. Несколько мнительный и, при всей кротости своей, самолюбивый Александр чувствовал себя нравственно и лично оскорбленным в этом тайном неуважении к нему Сперанского. В этом мог он видеть даже предательство и, во всяком случае, имел полную причину признать это неблагодарностью. Прибавьте к тому почти общее недовольство при оглашении государственных мер, изобретаемых Сперанским, неудовольствие, имевшее в Карамзине красноречивого обличителя, а в великой княгине Екатерине Павловне, в графах Растопчине и Армфельдте, в Балашове и, может быть, во многих других – деятельных и сильных и уже не просто теоретических поборников; примите притом в соображение, что на Россию надвигалась туча, разразившаяся грозой 1812 года и известны были наполеоновские и вообще французские сочувствия Сперанского; сокупите все эти обстоятельства, подведите их под один итог, и тогда если еще не вполне, то по крайней мере несколько объяснится и оправдается неожиданное и всех изумившее падение могучего счастливица.

В рассказе своем Магницкий живописно изображал некоторые подробности этого падения и роковой аудиенции, на которой совершился разрыв. Сперанский прямо из дворца отправился к Магницкому, чтобы уведомить его о случившемся, но у подъезда дома, им занимаемого, узнал, что Магницкий вывезен под полицейским надзором. Не мудрено было догадаться, что та же участь ожидает и его. Подъехав к себе и выходя из кареты, увидел он через окно *силуэтку Балашова, которая рисовалась на стене кабинета его*: подлинные слова, сказанные Магницким, который, вероятно, передавал их из письма к нему Сперанского.

Изо всего разговора моего с Магницким осталось во мне впечатление, что в нем не было основ государственного человека. Впрочем, едва ли и сам Сперанский был таковым в полном значении этого выражения. Нечего и говорить, что он был человек, значительно возвышающийся над уровнем человеческих рядов. Стоит только прочесть послужной список его и проверить некоторые вехи, значащиеся на пути, им пройденном от сельского священнического дома до высших государственных должностей и почестей, чтобы убедиться, что перед нами натура избранная, сильная, жгучая. Тут одним счастьем не объяснишь подобного перерождения и преобразования. Разумеется, счастье нужно и тут, и очень нужно, но притом нужны еще ум честолюбивый, врожденные способности и дарования, напряженная сила воли, ничем не развлекемая и постоянно бьющая в одну цель.

Талейран сказал о Тьере: «Il n'est pas un parvenu, il est un arrive»¹⁵. Можно сказать и о Сперанском: он не выскочил, а дошел. Если хорошенько взглядеться в жизнь, способности и сокровенные свойства подобных государственных счастливицев, то убедишься, что их счастье не есть одно прихотливое создание самовластного произвола; убедишься, что в них самих уже и ранее таились зародыши и залогов успехов их и возвышения. Разумеется, выборы власти, как и все человеческие действия, могут оказаться ошибочными, но власть вообще прозорлива: на стороне ее и при выборах не совсем удачных встречаются, при тщательном изыскании и дознании, побуждения и причины, которые могут в некоторой степени оправдывать эти выборы.

Сперанский был ум светлый, гибкий, восприимчивый, может быть, слишком восприимчивый, но, с другой стороны, ум его был более объемистый, нежели глубокий, более сообразительный, нежели заключающий. При всей склонности своей к нововведениям, он мало имел в

¹⁵ «Он не выскочка, он до всего доходит сам». – Прим. ред.

себе почина и творчества. В нововведениях своих был он более подражатель, часто трафаретчик. Может быть, по свойствам своим и характеру, по быстроте перехода из положения более чем скромного к положению почти господствующему над всеми, он, при всем уме своем, при всей сметливости, не успел опомниться, осмотреться и хладнокровно оценить счастье свое. Он слепо и с упоением предался ему. Во время силы своей и лихорадочной преобразовательной деятельности он, разумеется, находил в людях усердные и поработанные орудия; в ласкателях, в потакателях также недостатка не было и быть не могло. Но ни в среде правительственной, ни в среде общественной не имел он ни чистосердечных союзников, ни единомышленников. Он ни на что и ни на кого опереться не мог.

Здесь не может быть и речи об опоре, которую он имел в самом государе: опоре, разумеется, достаточной, чтобы поддержать и вполне застраховать его. Но по стечению и по роковой силе обстоятельств наконец и эта опора изменила ему. Он пал, никем не оплаканный, разве один государь искренно и прискорбно сочувствовал падению, которого был он, так сказать, невольным виновником. Есть свидетельства, на это указывающие. Нет сомнения, что государь любил Сперанского более, нежели Сперанский любил его. Есть и на это неопровержимые свидетельства.

Кем-то сказано, что Сперанский был *чиновник огромного размера*.

Есть люди, которые веруют во всемогущество и все-творчество редакции. Они в пере своем видят рычаг Архимеда, а в листе бумаги – точку опоры, о которой он тосковал. Едва ли не приближается Сперанский к этому разряду людей. Он оставил по себе много письменных памятников: проекты, уложения, регламентации, издательские, многотомные и весьма полезные как справки труды по части кодификации. Всё это вообще, если не строго и придирчиво вникать в подробности, – незабвенные и многоценные заслуги. Но всё это мог оставить по себе и ученый профессор, не выходящий из кабинета своего. Государственной личности всё еще тут не выказывается. Как бы то ни было, Сперанский займет видное место в нашей современной гражданской истории, но существенных, прочных, вполне государственных следов его отыщется немного на отечественной почве.

Не говорим уже о Пензе, где он просто милостиво и дружелюбно губернаторствовал по обыкновенным порядкам и общепринятому покрою; круг действий его в этих пределах был слишком ограничен, слишком тесен для властолюбивого ума, требующего большего простора и привыкшего к большему простору.

Но как могла Сибирь не возбудить государственной деятельности его? Как эта земля обетованная, эта новь, обещающая такую богатую и плодоносную жатву руке трудолюбивой и созидательной, которая посвятила бы себя обработке ее, как не прилепила она его к себе? Как не овладела она всеми его умственными способностями и сочувствиями, чтобы он на ней, на почве ее, в самые недра этой почвы, а не только на бумаге, поселил и водворил свои государственные понятия и мысли, если они в самом деле были ему присущи? Тут расстилалось перед Сперанским бесконечное и беспрепятственное поприще для многих действительных, а не только канцелярских преобразований. Как не высказал, не выказал себя тут истинный нововводитель, прокладыватель новых путей, зачинщик новых порядков?

Вот вопросы, которые, к сожалению нашему, напрасно возникают в уме при рассмотрении и оценке государственных способностей и призваний Сперанского. Истинный государственный человек (а впрочем, такого рода люди и у самой всеобщей истории на счету) полюбил бы Сибирь, подавил бы в себе сетования мелочной суетности и посвятил бы охотно несколько лет жизни своей обработке и воссозданию этой страны. Сибирь раскрывалась перед ним, как перед новым Ермаком. Сперанский мог вторично завоевать ее и покорить России. Но нет: он скучал Сибирью, он тяготился обязанностями и мыслью о подвиге, который предстоял ему; он на скорую руку отделялся бумажной деятельностью. Как изгнанный Овидий писал в Рим свои черноморские элегии, так Сперанский отправлял по почте в свой Рим, в Петербург, свои

сибирские *Tristia*. Он суетно рвался в Петербург. Ему нужна была кипучая, в обширных размерах, писчебумажная, скороспелая канцелярская производительность. Канцелярия была Форумом его. Приложительная, полезная деятельность в определенном круге действия была не по нем.

По нашему мнению, Сперанский при других порядках, при других или иначе условленных обстоятельствах мог бы сделаться очень полезным деятелем на гражданском поприще: например, при Екатерине. Он был бы для нее драгоценная находка. Она любила реформы, но постепенные; преобразования, но не крутые. Ломки не любила она. Она была ум светлый и смелый, но положительный. Любимый внук ее был ума более отвлеченного и несколько романтического; вместе с тем был он натуры отменно-доброжелательной и благонамеренной. Надежды, виды его на преобразовательное воспитание России и на благоденствие ее были чисты и возвышенно благородны. Он предавался им с любовью. Но, может быть, не всегда изыскивал он твердую и благонадежную почву, чтобы положить прочную основу под предпринимаемые им постройки. Сперанский не имел в себе ничего романтического: вероятно, было в нем мало и филантропического, в общем значении этого слова. Он был то, что позднее стали называть идеологом и доктринером, то есть человеком, который крепко держится нескольких предвзятых понятий и правил и хочет без разбору подчинять им действительность, а не согласовать их с нею и с условиями и требованиями ее.

В этих оттенках и сошелся с ним Александр. Не желая быть только *счастливым случаем*, как выразился он в разговоре с госпожой де Сталь, но по чувствам своим и внутреннему обету решившийся упрочить на твердом и законном основании благоденствие и могущество России, он обрадовался, встретив Сперанского. Он ухватился за него как за свежую силу, новое орудие, посланное ему Провидением для осуществления заветных дум и желаний, которые заботили и волновали его в юношеские лета. Многие свойства и качества Сперанского были таковы, что вполне оправдывали сочувствие и пристрастие Александра.

Сперанский был ловкий и скорый редактор и приятный, то есть светлый и вразумительный докладчик. Началась спешная работа. Государь увлекался благовидно-либеральными предначертаниями, смысл и дух которых долго носил в груди своей. С другой стороны, Сперанский увлекался своей *редакционной легкостью*. Настоящие нужды России, истинные выгоды ее, то, что в нововведениях могло оказать вредное влияние на эти выгоды, – всё это, за скоростью работы, *за верой в редакцию*, о которой мы говорили выше, всё это более или менее оставлялось без надлежащего и испытующего внимания.

Между тем наступающий 1812 год круто пресек все эти попытки и почины. Что вышло бы из них, если бы Сперанский так или иначе не утратил бы доверенности государя и не разразилась бы над Россией Наполеоновская гроза, которая перенесла заботы, деятельность и честолюбивые цели Александра на совершенно иную почву? Что вышло бы? На сей вопрос отвечать трудно. О том знает разве один Русский Бог. Судьбы России поистине неисповедимы. Можно полагать, что у нас и выдуман Русский Бог, потому что многое у нас творится совершенно вне законов, коими управляется всё прочее мироздание. Как знать, может быть, и Сперанскому суждено было оставить по себе память не только как издателя «Полного собрания законов» и «Свода законов» Российской империи, но и как главного сотрудника в деле коренного государственного преобразования России.

Но точно так же, как Русский Бог выдвинул Сперанского, так он и отодвинул его. История падения Сперанского остается в летописи нашей одной из загадок и едва ли не останется и навсегда загадкой. По возможности навели мы здесь некоторые проблески света на нее; но, разумеется, далеко не достаточны они, чтобы вполне объяснить все таинственные стороны возвышения, могущества и падения Сперанского.

Для конца очерка нашего сберегли мы одно обстоятельство: оно вовсе не поясняет дела; может быть, и пуще еще запутывает его; но оно указывает, между прочим, на личные отноше-

ния Александра к Сперанскому, которые пережили и разрыв с ним, и падение его. Это обстоятельство, кажется, мало известно, может быть, известно разве двум или трем лицам.

«Мы ехали (говорил князь Петр Михайлович Волконский графу Павлу Дмитриевичу Киселеву) с государем из Москвы в Петербург. На переезде от одной станции к другой, по Новгородской губернии, император вдруг приказал ямщику своротить в сторону. Я удивился этому приказанию и обратился лицом к государю. Он заметил удивление мое и спросил, знаю ли я, куда мы едем. На ответ мой, что не знаю, он, улыбаясь, сказал мне: “Ну и недалёковиден же ты, любезнейший мой! Сколько времени ты при мне, мог бы, кажется, успеть узнать меня, а не догадываешься, что едем к Сперанскому”. Этот рассказ, переданный мне Киселевым из уст самого князя Волконского, имеет, в глазах моих и по убеждению моему, историческую достоверность. Правдивость обоих лиц не может подлежать сомнению. Слышал я это от Киселева в 1818 или 1819 году: следовательно, как полагать нужно, вскоре после события. Свежая память не могла изменить Киселеву. В исторических и анекдотических рассказах нужно, сколько есть возможность, по французской поговорке ставить *les points sur les i*¹⁶, то есть всякое лыко в строку.

Возвратимся на несколько минут к Магницкому, который одно время был отблеском, отражением Сперанского. Многие привыкли видеть в нем только лешего казанских лесов или Казанского университета. Как бы то ни было, но имел он некоторые и человеческие черты. Зачем же не приводить и их в известность? Он, кажется, был воспитанником благородного пансиона при Московском университете, и воспитанником, кончившим курс свой с блестящим успехом. Вообще в нем было много блеска и представительности. В начале своей служебной деятельности проходил он через дипломатические должности при посольствах наших в Вене и в Париже. В молодости писал он стихи, которые Карамзин печатал в «Аонидах» своих. В некоторых поэтических попытках Магницкого прорывается стремление усвоить себе иные лирические замашки Державина. Вообще эти попытки могли быть задатками, надеждами на будущее. Долго была в ходу песня его:

*Изменил и признаюся,
Виноват перед тобой.
Но утешься: я влюбился,
Изменю еще и той.*

Кончалась она следующими стихами:

*Лучше, лучше не влюбляться,
Понемножку всех любить,
Всех обманывать стараться,
Чтоб обманутым не быть.*

Песенка эта, видите вы, не отличается строгим нравоучением. Вероятно, попадись она писанная студентом во времена Казанского попечительства, куратор торжественно предал бы ее публичному костру.

В первых годах столетия Нелединский написал Магницкому шуточное и приятельское послание. Нелединский был старше его годами и выше по общественному положению и вообще был разборчив и воздержан в сношениях своих с людьми. Это обстоятельство также служит благоприятным свидетельством в пользу обвиненного, то есть Магницкого. По крайней мере в то время был он человек, как водится, не только так себе, как говорится, но и в некото-

¹⁶ Ставить точки над *i*. – Прим. ред.

ром отношении отличающимся от толпы и даже сочувственным. Честолюбие и одностороннее стремление, доводящее до фанатизма, могут исказить и подавить лучшие внутренние качества, умственные и нравственные. С другой стороны, развивают они и воплощают недобрые зародыши, которые, в том или другом виде, в той или другой степени силы, гнездятся в глубоком тайнике каждого человека. Вот, кажется, история и Магницкого.

Мы, вообще, очень любим бичевать и добивать забытых. Мы злорадуем, когда безответственно и безнаказанно предают нам кого-нибудь на заедение. Вот, например, Магницкий. Он уже при жизни своей испытал кару власти и общественного мнения. Зачем еще предавать его и загобным пыткам? Не требуем, чтобы прикрывали молчанием и забвением всё темное и недоброе в минувшем, но можно и должно требовать суда хладнокровного, неліце-приятного. Уж если где должны быть принимаемы в соображение *смягчающие обстоятель-ства*, то именно в суде и приговорах над деятелями минувшего времени, уже сошедшими с лица земли. Они не могут оправдывать себя, не могут пояснить многое, которое, может быть, не вполне оправдало бы их, но по крайней мере уменьшило бы их вину, часто плод обстоя-тельств, общественной температуры и других трудно преодолеваемых условий. Перед виновными или над виновными людьми бывают и виновны обстоятельства и влияния. Обязанность и дело судьи распутывать и определять эти сложные и нередко многосложные узлы. Наши судьи часто лицеприятны, они выдвигают на отдельную скамью обвинения лицо, которое подозревают или которого не возлюбили, и устремляют на него все улики, все возможные натяжки, не возлагая на себя труда проверить, прочистить среду, окружающую его.

* * *

Мы говорили о романтических оттенках свойств и характера императора Александра. Это приводит на память сказанное нам Н.Н.Новосильцевым.

Известно из разных источников и из писем самого Александра, что в молодости своей питал он намерение отречься от предстоящего ему престола и поселиться где-нибудь вне Рос-сии, в тихом и уединенном пристанище. Тогдашние друзья его – Новосильцев, граф Строганов, Кочубей – не одобряли в нем подобного направления, нередко в разговорах оспаривали его, но переубедить не могли. Наконец положили они между собой прибегнуть к следующей уловке. Они решились приступить письменно к этой задаче и распорядились в переписке своей таким образом: в первом письме изъявлялось почти согласие с мнением Александра Павловича и одобрялось намерение его; во втором письме допускались некоторые сомнения о правильно-сти и нравственном достоинстве подобного поступка; в следующих письмах, постепенно, раз-биралась подлежащая тема всё крещендо и крещендо в том же духе отрицания. Наконец, в последнем письме вопрос был разобран со всей возможной строгостью с воззрения нравствен-ного и государственного. Молодые оппоненты со всех батарей логики и красноречия своего открывали огонь и громили засаду, в которой упорно держался противник. Победа оставалась за ними: осажденный сдавался.

В наше время этот способ убеждения и вся эта письменная проделка могут показаться странными, если даже не смешными. Эти приемы отзываются школьной скамьей, на которой ученики, по задаче магистра, разрабатывают разные риторические задачи. Но покорнейше про-сим отступить за многие десятки лет и смотреть на минувшее глазами минувшего, а не насто-ящего. Этот способ был, так сказать, в нравах этого времени. Тогда писатели любили писать диссертации, а читающая публика не пугалась этой схоластики, не скучала ею. Два величай-ших писателя того века, Ж.-Ж.Руссо и Дидеро, были большие диссертаторы, что не мешало им быть красноречивыми и увлекательными писателями.

Любопытно отыскать эти письма. Вероятно, были они преимущественно писаны Ново-сильцевым, который был и грамотнее, и литературнее товарищей своих.

Несправедливо было бы, хотя и довольно правдоподобно, обвинять наставника Лагарпа в привитии этих идиллических наклонностей своему царскому воспитаннику. Лагарп, хотя и земляк знаменитого Сен-Прё («Новая Элоиза»), был натуры вовсе не романтической. Он был человек степенного и холодного темперамента, человек преимущественно политический. Он мог, пожалуй, недостаточно знать Россию, но был умен, образован и честен. Нет сомнения, что он, сколько мог и умел, вел воспитанника своего не к царской хижине, а к престолу одного из могущественнейших государств в Европе. Отдадим ему заслуженную им и полную справедливость. Его, так сказать, нравственная опека над державным отроком, влияние на него сколько преподаванием, столько и постоянным общением, много, без сомнения, содействовали развитию тех врожденных и прекрасных качеств, коими позднее любовались современники как в России, так и в чужих странах.

Мечтательные думы Александра образовались в нем, может быть, из другого и собственного его источника. Темные и, вероятно, довольно зыбкие желания отречься от престола едва ли не возродились в глубоком тайнике нравственной организации его. Он с ранней молодости своей пламенно, искренно, но, может быть, не совсем сознательно любил добро. Положение его, окружавшая его атмосфера не могли содействовать раннему и полному созреванию понятий, правил и характера. При этом, по другим мягким свойствам, по недостатку твердой воли, некоторой постылости к постоянному и напряженному труду, Александр, может быть, не признавал в себе достаточных способностей и сил, чтобы править такой державой, как Россия. Много лет спустя говорил он графине Софье Владимировне Строгановой: «Наше с братом Константином воспитание было худо прилажено, *завищено*».

Он в молодости своей, так сказать, не предвидел, не предчувствовал в себе Александра 1812 года, Александра Москвы и Парижа. Тут явились в нем и сила, и постоянство воли. Не следует также забывать, что эта мечтательность была тоже в нравах века. Везде господствовала некоторая философическая сентиментальность, всё отрицающие умы и вожди «Энциклопедии» поддавались обаянию этой сентиментальности. С одной стороны, важнейшие общественные вопросы были на очереди: их перевертывали на все стороны, ставили их, так сказать, на дыбы. Дело шло о том, быть или не быть закрепленным порядкам, освященным многими столетиями. Испарения, поднимающиеся от этих столкновений, сшибок мнений и страстей, сгустились в атмосфере пока еще невидимые, но уже зреющие грозы, которые должны были в скором времени разразиться над европейским обществом.

А между тем, в то же время, умы любили отдыхать в сентиментальном самозабвении. Только и говорили, только и толковали, что о природе, о счастье сельской уединенной жизни. Опять тот же Ж.-Ж. Руссо, красноречивый и повелительный оракул века своего, был и Самсоном, потрясающим столпы общественного здания, и чуть ли не пастушком, который созывает всех идти за ним в новую Аркадию пасти овец и восхищаться восхождением и закатом солнца. Не думая, не гадая, Руссо создал по себе многих кровожадных метафизиков Французской революции и многих Шаликовых с посошком в руке и полевыми цветами на шляпе, непорочно питающихся одним медом и молоком¹⁷.

Странная, но любопытная, занимательная и поучительная эпоха. В том или другом виде, значении и направлении, все последовавшие за ней поколения – ее чада и носят наследственное родимое пятнышко ее.

Не мудрено, что в то время еще живая эпоха эта отразилась на впечатлительной натуре Александра. Чистая юношеская душа его, в сочувствии с возвышенной душой избранной им подруги, как это видно из писем, возмущалась зрелищем, окружавшим его. Он еще мало знал людей; он думал, что нравственные немощи и прискорбные явления, которые пугали еще не испытанное чувство его, исключительно принадлежали той среде, которая вращалась перед

¹⁷ Шаликов Петр Иванович (1767—1852) – писатель-сентименталист, журналист, издатель. – Прим. ред.

глазами его. Он думал, что стоит только выйти за дверь, чтобы освежиться и насытиться вольным воздухом. Ему было тут душно: он в лес хотел. Вот, вероятно, разгадка стремлений его в Швейцарию. Всё это внутреннее брожение отвлекало его от людей, от желания господствовать над ними: всё это было в разрез с правильным и более практическим воззрением на жизнь и на частные и общественные условия ее. Но вместе с тем от всего этого веет свежей поэзией, которая тем упоительнее и милее, что распустилась она и благоухает под кровлей царского дворца.

Позднее новые впечатления, не менее тяжкие и прискорбные, должны были всё более и более нарушать и приводить в смущение душевные и нравственные настроения его. Трудно найти в истории личность более величественную, вызывающую более сочувствия и во многом более загадочную, чем личность Александра. Но для исследования подобного характера нужны свойства ума высокого и беспристрастного, нужна проницательность глубокого сердцеведа. Тут журнальными статейками не отделаешься, не совершишь подобной задачи. Особенно промахнешься, если примешься за него с узкой точки зрения так называемого *автократизма* или так называемого *либерализма*. Нет, для этого нужно стать на более чистую и широкую высоту. Нужно отречься от пошлых и дюжинных соображений, почерпнутых из первого попавшегося на глаза учебника или букваря. Тут является человек, и следует судить его по-человечески, то есть судом живым, а не по мертвой букве политического требника.

Александр начал Лагарпом, а кончил Аракчеевым. (Спешу заявить при сем, что, по моей личной системе, я не одержим безусловной аракчеевофобией, которой страждут многие, считаю, что и Аракчеева должно всецело исследовать и без пристрастия судить, а не то прямо начать с четвертования его. Но во всяком случае совесть моя и оптимизм мой не доходят до того, чтобы не видеть разности между Лагарпом и Аракчеевым.) Эти два имени, две противоположности, две крайности, так сказать, обставливают имя Александра. Надобно изучить того и другого. Их нельзя смешивать, но следует объяснить их взаимным сопоставлением, и если тот, кто примется за этот труд, движим независимыми побуждениями и свободной любовью к истине, тот и в первоначальном периоде, и в заключительном, может быть, отыщет того же верного себе Александра. Такой биограф, такой судья разберет оттенки, если не совсем и объяснит их испытаниями, которым подвергался Александр в трудном подвиге жизни своей.

Подобный труд мог бы совершить Карамзин. Он всегда желал и надеялся, по доведении «Истории» своей до воцарения Дома Романовых, окинуть взором новейшую нашу историю в сжатом, но полном очерке. Смерть не позволила ему достигнуть и первой грани предпринятого им труда. Он находился под очарованием высоких и любезных свойств Александра, но не был ими ослеплен. Он судил Александра и не скрывал от него суда своего. Он говорил ему смелую правду прямо в глаза. К тому же государь, которому приписывали некоторую скрытность, был, по всем вероятностям и по многим свидетельствам, более откровенен с Карамзиным, чем с другими. Карамзин, и по обстоятельствам, и по характеру своему, всегда находился перед ним в независимом положении. Сношения царя и подданного могли быть и были нравственно свободны и бескорыстны.

Расследования Карамзина были бы тем беспристрастнее, что он часто оспаривал мнения, которые могли быть посеяны в государе ранним влиянием Лагарпа, и, разумеется, не мог сочувствовать крутым мерам Аракчеева и его, так сказать, механическому способу вести государственные дела и управлять людьми. Несмотря на эти разногласия, Карамзин глубоко, нежно и сознательно любил Александра. Следовательно, сквозь оттенки двух личностей, противоречащих друг другу, как личности Лагарпа и Аракчеева, выделялась светлая, самородная и высоко сочувственная личность Александра.

* * *

«Анекдот о Жан-Эрнсте герцоге Бироне» («Anecdote sur le sieur Jean Ernest due de Biron»). Под этим названием в бумагах графа Никиты Ивановича Панина, управлявшего внешними делами при Екатерине II, найден следующий на французском языке рассказ. Подлинник поступил в собственность графа Ивана Григорьевича Чернышова, и список с него передан мне сыном его, графом Григорием Ивановичем. Достоверен рассказ, вымышлен или по крайней мере искажен, решать не беремся. Во всяком случае, он не согласуется с известными сведениями и преданиями о происхождении Бирона. С другой стороны, думать, что рассказ совершенно вымышлен, также не правдоподобно: найденный в бумагах графа Панина, он имеет за себя некоторый дипломатический авторитет. Во всяком случае, он любопытен по содержанию и, может быть, наведет на затерянные следы для объяснения и определения истины.

Сей столь известный муж, который играл такую значительную роль в царствование императрицы Анны, был сыном золотых дел мастера. Отец готовил его к званию нотариуса. Он приобрел все знания, нужные для исполнения этой должности, но соскучился пребыванием в маленьком городке. Вскоре представился ему случай предложить услуги свои барону Герцу, который пробыл несколько времени в этом местечке, за скоропостижной смертью секретаря своего. Молодому Бирону, благодаря приличной наружности и ловкости, удалось снискать согласие барона определить его на упраздненное место. Он поехал с ним в Стокгольм. Знакомство его с разными языками и умение разбирать и списывать всевозможные почерки вскоре оправдали выбор и доверие, ему оказанное.

По привычке его с детства иметь в руках старые договоры и документы, писанные большей частью на пергаменте, Бирон незаметно повадился, переписывая подлинники, держать во рту оторванные с полей их лоскутки, так что наконец стал находить в этом особенное удовольствие, подобно тем, кто приучают себя жевать табак. Эта привычка обратилась в страсть: он постоянно имел во рту такие бумажные отрезки, которые тщательно отделял от листа; а как занятия его по письменной части заключались в обращении с множеством бумаг, то он мог лакомством своим наслаждаться вдоволь.

Однажды Бирон задержался в кабинете начальника долее обыкновенного по работе важной и спешной. Из побуждения аппетита своего он открыл ветхую и закопченную бумагу, которая лежала на краю стола. Бессознательно и, так сказать, машинально положил он ее в рот и начал сосать. Весь погруженный в занятие свое и единственно озабоченный работой, он так разлакомился находкой, что не подумал о том, чего должен был опасаться. Только после четырех часов усидчивого труда опомнился он и заметил, что бумага не только всё еще во рту его, но что она вся изжевана, так что совершенно обезображена. Изумление его еще возросло, когда он поспешил развернуть ее и кое-как разобрал по оставшимся в целости словам, что содержание ее было особенной важности и относилось до спорного дела, которое горячо отстаивалось, с одной стороны, шведским правительством, с другой – императором Петром I.

Бирон почувствовал, что погиб безотменно. Ничего не мог придумать он к оправданию своему. Отчаяние овладело им, и в ту же минуту вошел барон. Он нашел его с этой злополучной бумагой в руке и с первого взгляда заметил в глазах его и на всем лице признаки необычайного смущения. Достаточно было одного любопытства, чтобы возбудить в бароне желание разведать эту тайну. Но что было с ним, когда, взглянув на бумагу, он убедился, что она нужнейшая и драгоценнейшая из всех деловых документов, хранившихся в кабинете его! В первом порыве гнева он не дал себе времени разобрать дело, не слушал никаких оправданий и объяснений: он не сомневался в измене и вероломстве секретаря своего, будто бы подкупленного русским посланником. Тут же приказал он отправить несчастного в тюрьму и держать его под строжайшим присмотром.

В заточении своем молодой человек как ни рассматривал беду свою со всех сторон и как ни чувствовал себя невиновным, а всё приходил к тому заключению, что для оправдания его нет никакого средства, потому что все наружные улики против него. В подобном расположении духа он менее думал о защите своей, нежели о приготовлении себя к смерти. Однако же, поскольку объяснение обстоятельств неумышленной вины его не могло ни в каком случае быть для него предосудительным, то он решился рассказать откровенно всё, что произошло, хотя мало надежды имел убедить судей в чистосердечии признаний своих.

Вскоре призвали Бирона к допросу. Четверо из важнейших стокгольмских сенаторов обвиняли его в преступлении и вынуждали сознаться в тайных сношениях с Россией. Он отвечал им со слезами на глазах одним изложением обстоятельств, которые вкоренили в нем привычку жевать бумагу и старый пергамент. Как ни слаба могла казаться такая защита, но простота, с которой он выразил ее, произвела особое впечатление на одного из старых сенаторов: опытность в судебных делах давала ему возможность угадывать признаки правоты и невинности. Всматриваясь более и более в подсудимого, сенатор заметил, что пока писал он свои показания и был углублен в чтение допросных пунктов и в обдуманное изложение ответов, он часто протягивал руку к чернильнице, бывшей на столе, вырывал кусочки пергамента, коим была она обита, и явно, по невольному движению, брал в рот эти обрывки. (Заметим здесь мимоходом от себя, что эта проделка могла бы быть и умышленной уловкой, чтобы убедить судей своих в непобедимой привычке, которой он оправдывал свой проступок.)

Это наблюдение заставило сенатора найти некоторое правдоподобие в показаниях подсудимого. Он обратился к нему с вопросами о зачатии и постепенном усилении привычки его и потребовал оправдывающих доказательств. По счастью подсудимого, в них недостатка не было; он вытащил из кармана множество бумажных и пергаментных свертков. Склад их, запах, всё согласовалось с его показаниями. Сенатор из судьи сделался защитником; другие собранные справки о поведении и связях были все благоприятны обвиняемому. Барон первый исходатайствовал возвращение ему свободы. Несмотря на это, опасение, что снисхождение может вовлечь его в новые неприятности или огласка, данная этому событию, может обратиться ему во вред и во всяком случае должна изменить отношение его к секретарю, барон уволил его с выдачей ему приличного вознаграждения.

Мало было вероятия, что человек, почти выключенный из службы самим министром, мог найти случай определиться к новому месту в Швеции. Несчастный Бирон решил выехать из нее и перебраться в Курляндию, где приключение его не было известно. Он поступил к первому деловому человеку, который согласился принять его. Фортуна, которая вела Бирона за руку, приблизила его к главному сборщику податей в Митаве. Это был человек преданный развлечениям и удовольствиям, давно искавший смышленного дельца, который мог бы освободить его от бремени занятий и трудов, лежавших на нем по должности. Одаренный необычайным умом и прилежностью новый секретарь показал способности, которых от него требовали. Он скоро снискал любовь начальника своего, но не мог отучиться от привычки, которая грозила ему гибелью в Швеции.

Главный сборщик, покончив счеты, возвратился домой с распиской, собственноручно подписанной герцогом Курляндским. Он очень дорожил этой распиской, потому что недоброжелатели, пользуясь известной молвой о том, что он предан сладострастию и мотовству, готовы были обвинить его и в недобросовестном соблюдении общественных денег. Потому и отдал он расписку секретарю с наказом хранить ее бережно и тщательно. Эта бумага не имела свойств, которые могли бы возбудить обыкновенный позыв на еду: это не был лакомый Бирону пергамент; но по силе привычки Бирон неотлагательно приблизил ее к губам своим. К тому же, по прошествии нескольких лет, в нем ослабло впечатление, оставшееся от прежней невзгоды. Как бы то ни было, он, по несчастью, предал бумагу эту прозорливости зубов своих, и вскоре они

врезались до того, что уничтожили вовсе подпись герцога, – подпись, которая составляла всю важность помянутого документа.

Недолго спустя убедился он в беде, но беда была уже неисправима. Она показалась Бирону еще опаснее последствиями своими, чем стокгольмская, и он вообразил себе, что ему предстоит та же гибель. Наконец, обдумав хорошенько положение свое, он немного успокоился. Подозрение в измене и предательстве не могло в этом случае пасть на него, а сильнейшая для него опасность была бы в этом подозрении.

Потому и решился он заблаговременно предуведомить начальника своего о своей неосторожности и, чтобы задобрить и разжалобить его, начал рассказ про свое стокгольмское приключение, которое вынудило его оставить Швецию. После того с трепетом обратил он речь на новую беду свою. Сборщик податей хорошо понял смущение и страх его, но, надеясь поправить дело без большого затруднения, дал себе удовольствие продлить сцену и забавлялся тревогой подчиненного своего. Наконец от шуток перешел он к успокоению и утешению провинившегося и уверил его в продолжении благорасположения своего.

Между тем принял он нужные меры, чтобы обеспечить себя в отношении к придворным расчетам. Герцогу рассказал он откровенно все обстоятельства настоящего дела и с такой похвалой отозвался о способностях и достоинствах секретаря своего, что возбудил в герцоге желание лично узнать его. Наружность его и несколько минут разговора с ним достаточны были, чтобы расположить герцога в пользу его. Милость, оказываемая Бирону, возрастала с каждым днем: он был уже на очереди сделаться любимцем герцога. Сборщик, оценивая отличные качества его, видя, что привязанность к нему герцога лишит его хорошего помощника, и опасаясь, что, с другой стороны, несчастная и укрепившаяся привычка может вовлечь его в новый просак, решился испытать средство для исцеления его от этой слабости. Он вообразил себе, что эта привычка, род недуга, заключалась в жилках неба во рту и в губах, привыкших к некоторому раздражению; вследствие того он намеревался устранить это предрасположение, приучив секретаря своего к другому ощущению, более сильному и вместе с тем более приятному, которое надеялся возбудить в нем хмельным напитком.

Придумав этот способ, решился он привести его в действие в тот же день. Он пригласил секретаря своего отужинать, примером своим побуждал он его к осушению такого числа бокалов, что с первого раза поставил его в невозможность помышлять о пергаменте во всю ночь. В следующие дни возобновлял он испытания свои, сколько собственных сил его на то хватало. Лучшие вина сменялись сильнейшими ликерами.

По исходе нескольких недель пергамент не было уже в помине: вкус и потребность новых ощущений решительно взяли верх. Но что было еще и того счастливее для секретаря, застольная свобода и благотворное действие увеселительного вина развязывали ум и язык его. Он явил в себе способности, которых в нем и не подозревали.

Молва о совершившемся чуде дошла до герцога. Он захотел лично убедиться в достоверности доходящих до него слухов, и таким образом секретарь сделался предметом общего внимания. Положение его совершенно изменилось; фортуна его постепенно возрастала по мере благоприятных впечатлений, которые он производил на всех, оправдывая мнение об уме своем и ловкой смыслености.

Сделавшись фаворитом герцога, Бирон не замедлил еще более понравиться герцогине. Эта привязанность, которая продлилась до кончины герцога, еще более обнаружилась и усилилась после смерти его. Вот первые ступени, которые вознесли Бирона на высоту, которую он занял впоследствии.

* * *

В девятом или десятом году нынешнего столетия была издана на французском языке книга: «Les petites miseres de la vie humaine» («Бедушки человеческой жизни»). Кажется, переведена она с английского, да и носит на себе отпечаток английского юмора. Тут в двух больших томах исчислены и изложены все промахи, которые может сделать человек, все просаки, в которые может он попасть, все возможные недочеты и перечеты, ошибки, недосмотры, одним словом, все маленькие придирки, притеснения, которыми враждебная и лихая судьбина может врасплох озадачить, одурачить и вывести человека из терпения.

NN говорил, что эта книга списана с него и что он мог бы еще значительно пополнить ее им испытанными и автору не пришедшими на ум разного рода дрязгами и булавочными уколами. Он говорил, что судьба приставила к нему бессменного чиновника по особым поручениям, а эти поручения заключаются в беспрестанном кидании камушков под ноги ему и палок в колеса его, в осечке разных предприятий, от больших до мельчайших. Всего не исчислить, а вот два примера.

Он, то есть чиновник по особым поручениям, дернул NN однажды идти любезничать с молодой дамой. Между тем NN страдал жестоким насморком. В самом пылу нежных разговоров, сидя на диване рядом с молодой светской красавицей, он расчихался со всеми последствиями насморочного чихания и только тут догадался, что дома забыл он свой носовой платок. Вот картина!

В другой раз тот же чиновник дернул его съездить из Рима в Неаполь единственно с тем, чтобы услышать Малибран, которой он еще не слышал. Приехав в Неаполь, он при выходе из коляски узнает, что певица накануне поломала руку себе и в течение нескольких недель не будет в состоянии явиться на сцене. И дня не проходит, говорит NN, чтобы сей *он* не сыграл с ним какой-нибудь шутки.

Он же, NN, говорит, что судьбу иных людей и участь многих жизней иначе объяснить себе нельзя, как с помощью легенды о добрых и злых феях. Первые приносят к колыбели новорожденного, на зубок ему, многие прекрасные дары, каждая из них по своей части. Так и кажется, что только стоит пользоваться этими дарами. Но под конец раздачи подкрадывается лихая фея и исподтишка подрезает все эти дары, так что впоследствии ни один из них вполне развиться не может. Или, пожалуй, вслед за добрыми феями приходит кривая, кривобокая и злая старая ведьма. Она оставляет дары неприкосновенными, но изувечивает, расслабляет в новорожденном на всю жизнь волю его, так что такой господин, со всеми способностями своими, остается навсегда во всем и везде *дилетантом*, а в виртуозы ему ни на каком инструменте не попасть. NN добавляет, что мог бы в пример тому указать на подобного человека, но как-то совестно ему назвать его.

* * *

Денис Давыдов, говоря с Меншиковым о различных поприщах службы, которые сей последний проходил, сказал: «Ты, впрочем, так умно и так ловко умеешь приладить ум свой ко всему по части дипломатической, военной, морской, административной, за что ни возьмешься, что поступи ты завтра в монахи, в шесть месяцев будешь ты митрополитом».

* * *

Шведский посланник Пальменштерн многие годы занимал в Петербурге место свое. Он был умный и образованный человек. В сравнении с другими сослуживцами его, аккредитованными при русском дворе, можно сказать, что он довольно обрусел. Он порядочно выучился нашему языку, ознакомился с литературой и с вниманием следил за движениями ее. За такую внимательность литература наша, не избалованная (особенно в то время) ухаживаниями иностранцев, должна помянуть его добром и признательностью. На его дипломатические обеды бывал приглашен даже Греч, что совершенно вне посланнических обыкновений и дипломатических преданий.

Пальменштерн был очень вежлив и общителен, хотя и пробивалась в нем некоторая скандинавская угловатость и суровость. Но вежливость совершенно изменяла ему за игорным столом. Карты, особенно когда он проигрывал, пробуждали в нем страсти, воинственность и свирепость поклонников Одина.

Одно время дом графини Гурьевой (тещи графа Нессельроде) был по вечерам любимым сборным местом петербургского избранного общества и, разумеется, дипломатического корпуса. Однажды, при постоянно дурных картах и по проигрыше нескольких роберов виста, Пальменштерн поэтически воскликнул во всеуслышанье: «Да этот дом был, наверно, построен на кладбище бешеных собак!» Можно представить себе действие подобного лирического порыва на салонных слушателей.

В другой раз заезжает он к той же графине Гурьевой с визитом. Швейцар докладывает ему, что графиня очень извиняется, но принять его не может, потому что нездорова. Между тем несколько карет стоит у подъезда. Пальменштерн отправляется в Английский клуб, а оттуда в разные знакомые дома и всюду разглашает, что графиня Гурьева больна и, вероятно, опасно больна, потому что у нее консилиум докторов, которых кареты видел он перед домом ее. Весть разносится по городу. Со всех сторон съезжаются к подъезду наведаться о здоровье графини, пишут ей и приближенным ее записочки с тем же вопросом. Половина города лично или посланными посещает ее в течение суток. Графиня понять не может, каким образом подняла она такую тревогу в городе. Наконец узнали, что это была расплата Пальменштерна за отказ принять его.

Вот еще одна отличительная черта его. В гостях, при выходе из салона, он постоянно сбивался дверьми. Будь их три или четыре в комнате, он не преминет стукнуться во все прежде, нежели попадет в настоящую дверь.

Он очень любил итальянскую оперу, но не любил восторженных, шумных изъятий петербургской публики. Когда, бывало, при громких рукоплесканиях и вызовах Рубини или госпожи Виардо, нетерпеливые и горячие зрители начинали топтать ногами, он со злой насмешкой говорил: «Вот и конница наступает!»

* * *

Одному знатному и богатому польскому пану пеняли, что он мало денег дает сыновьям своим на прожиток. «Довольно и того, – отвечал он, – что я дал им свое имя, которое им не следует».

* * *

Кто-то говорил молодой графине Х.:

– Понимаю, что связь ваша с Z продолжается, но не понимаю, как могла она начаться.
– А я, – отвечала она, – понимаю, что началась она, но не понимаю, как может она продолжаться.

* * *

Вдовый чадолюбивый отец говорил о заботах, которые прилагает к воспитанию дочери своей. «Ничего не жалею, держу при ней двух гувернанток, француженку и англичанку; плачу большие деньги всем возможным учителям: арифметики, географии, рисования, истории, танцев, Закона Божия. Кажется, воспитание полное. Потом повезу дочь в Париж, чтоб она *канальски* схватила парижский прононс, чтобы не могли распознать ее от парижанки. Потом привезу в Петербург, начну давать балы и выдам ее замуж за генерала». (Всё это исторически достоверно из московской старины.)

Другой отец, также москвич, жаловался на необходимость ехать на год за границу.

– Да зачем же едете вы? – спрашивали его.

– Нельзя, для дочери!

– Разве она нездорова?

– Нет, благодаря Бога, здорова, но, видите ли, теперь ввелись на балах долгие танцы, например котильон, который продолжается час и два. Надобно, чтобы молодая девица запаслась предметами для разговора с кавалером своим. Вот и хочу показать дочери Европу. Не всё же болтать ей о Тверском бульваре и Кузнецком Мосте. (И это исторически верно.)

Есть же отцы, которые пекутся о воспитании дочерей своих.

* * *

Принц де Конти (брат великого Конде) должен был жениться на одной из двух племянниц кардинала Мазарини и не хотел сам выбрать из них невесту. Он говорил: «Мне всё равно, та или другая; я женюсь на кардинале, а вовсе не на племяннице его».

* * *

Л. спрашивал Ф., видел ли он невесту его.

– Видел.

– Как нравится тебе она?

– Очень мила: ведь ты на младшей женишься?

– Нет, помолвлен я со средней сестрой. А что же, ты думаешь, что меньшая лучше? Зачем же прежде не сказал ты мне? Я посватался бы за нее. А впрочем, переменить еще можно.

* * *

А.М.Пушкин забавно рассказывает один анекдот из своей военной жизни. В царствование императора Павла командовал он конным полком в Орловской губернии. Главным начальником войск, расположенных в этой местности, было лицо, высокопоставленное по тогдашним обстоятельствам и немецкого происхождения. Пушкин был с ним в наилучших отношениях, как по службе, так и по условиям общежительности.

Однажды и совершенно неожиданно получает он, за подписью начальника, строжайший выговор, изложенный в выражениях довольно оскорбительных. Пушкин тут же пишет рапорт о

сдаче полка, по болезни своей, старшему штаб-офицеру и просит о совершенном своем увольнении. Начальник посылает за ним и спрашивает о причине подобного поступка.

– Причина тому, – говорит Пушкин, – кажется, довольно ясно выражена в бумаге, которую я от вас получил.

– Какая бумага? – Пушкин подает ему полученный выговор. Начальник прочитывает его и говорит: – Так эта-то бумага вас огорчила? Удивляюсь вам! Служба одно, а канцелярия другое. Какую бумагу подаст мне она, я ту и подписываю. Службой вашей я совершенно доволен и впредь прошу вас, любезнейший Пушкин, не обращать никакого внимания на подобные глупости.

В одно из пребываний Александра Павловича в Москве он удостоил частное семейство обещанием быть у них на бале. За несколько дней до бала хозяин дома простудился и совершенно потерял голос. «Само Провидение, – говорил тот же Пушкин, – благоприятствует этому празднику: хозяин не может выговорить ни одного слова, и государь избавляется от скуки слушать его».

* * *

NN говорит: «Я ничего не имел бы против *музыки будущего*, если бы не заставляли нас слушать ее в настоящем».

Вводить реализм в музыку – то же, что вводить поэзию в алгебру.

* * *

Кто-то сказал: царедворцы вообще ближе и тверже изучают нравственные немощи и недостатки владык своих, чем благородные и доблестные свойства их. Это понятно и в порядке вещей. Они подобны врачам: и этим от здоровья и от здоровых ожидать нечего; они промышляют и наживаются болезнями. Как болезни для врачей, так и царские слабости для царедворцев составляют благонадежные доходные статьи.

С., говоря об одном из подобных царедворцев, метко и счастливо сказал: «Он знает государя своего так же, как пианист знает свой инструмент. Один изучил звук каждого клавиша, другой изучил каждое чувство, каждый нерв господина своего: он знает наперед, какой отголосок отзовется от прикосновения к нему».

* * *

Настасья Дмитриевна Офросимова была долго в старые годы *воеводой* в Москве, чем-то вроде Марфы Посадницы, но без малейших оттенков республиканизма. В московском обществе имела она силу и власть. Силу захватила, а власть приобрела она с помощью общего к ней уважения. Откровенность и правдивость ее налагали на многих невольное почтение, а на многих – страх. Она была судом, пред которым докладывались житейские дела, тяжбы, экстренные случаи. Она и решала их приговором своим. Молодые люди, барышни, только что вступившие в свет, не могли избежать осмотра и, так сказать, контроля ее. Матери представляли ей девиц своих и просили ее, мать-игуменью, благословить их и оказывать им и впредь свое начальническое благоволение.

Что ни говори, это имело свою и хорошую сторону. В обществе нужна некоторая подчиненность чему-нибудь и кому-нибудь. Многие толкуют о равенстве, которого нет ни в природе, ни в человеческой натуре. Ничего нет скучней и томительней плоских равнин: глаз непременно требует, чтобы что-нибудь, пригорок, дерево, отделялось от видимого однообразия и несколько

возвышалось над ним. Равенство перед законом – дело другое. Но равенство на общественных ступенях – нелепость. Тут для самой пользы общества и даже для приятности его необходимы неровности, преимущества, вследствие прихоти судьбы, рождения, случайных, но узаконенных условий и обстоятельств. Для водворения этого равенства, о котором многие толкуют и тоскуют, за невозможностью сделать всех умными, надлежало бы сделать всех глупыми, чего, впрочем, многие бессознательно и инстинктивно, может быть, и добиваются.

У Офросимовой был ум не блестящий, но рассудительный и отличающийся русской врожденной сметливостью. Когда генерал Закревский назначен был финляндским генерал-губернатором, она сказала: «Да как же будет он там управлять и объясняться? Ведь он ни на каком языке, кроме русского, не в состоянии даже попросить у кого бы то ни было табачку понюхать!»

Она имела несколько сыновей. Все они истые и кровные москвичи. Один из них, Александр Павлович, кажется, старший из братьев, был большой чудак и очень забавен. Он в мать был честен и прямодушен. Речь свою пестрил он разными русскими прибаутками и загадками. Например, говорил он:

– Я человек бесчасный, человек безвинный, но не бездушный.

– А почему так?

– Потому что часов не ношу, вина не пью, но духи употребляю.

Он прежде служил в гвардии, потом был в ополчении и в официальные дни любил щеголять в своем патриотическом зипуне с крестом непомерной величины Анны 2-й степени. Впрочем, когда он бывал и во фраке, то постоянно носил на себе этот крест вроде иконы. Проездом через Варшаву отправился Александр Павлович посмотреть на развод. Великий князь Константин Павлович заметил его, узнал и подозвал к себе.

– Ну, как нравятся тебе здешние войска? – спросил он его.

– Превосходны, – отвечал Офросимов. – Тут уж не видать клавикордничанья.

– Как? Что ты хочешь сказать?

– Здесь не прыгают клавиши одна за другой, а всё движется стройно, целно, как будто каждый солдат сплочен с другими.

Великому князю очень понравилась такая оценка, и смеялся он применению Офросимова.

В 1818 или 1819 году, в числе многих революций в Европе, совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталон; введены были в употребление и законно утверждены на балах либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий NN первый явился в Москву в таких невыразимых панталонах, на бал М.И.Корсаковой. Офросимов, заметив его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить; а ты вздумал нарядиться матросом».

Говорили о ком-то:

– Что ему за охота всегда за девчонками? Ведь из этого ничего не выйдет, и смешно.

– Ничуть не смешно, – перебивал Офросимов, – он хочет быть министром, он смотрит и метит в даль. Девчонки выйдут замуж и вспомнят тогда, что он обращал на них внимание, да и отблагодарят его.

Он уморительно смешно рассказывал о сношениях своих с Кокошкиным (Ф.Ф.). У них была общая родственница, старая дева. Была она при смерти. Та и другая сторона имели в виду наследовать ей. Проживала она у Кокошкина. Офросимов отправляется к нему. Едва вошел он в комнату, явился и Кокошкин. Больная лежала на кровати, выпучив глаза, и не подавала почти никаких признаков жизни.

Офросимов: «Матушка моя прислала меня к вам узнать о здоровье».

Больная протяжно хрипит.

Кокошкин: «Сестрица очень благодарит матушку вашу и вас за внимание к ней».

Офросимов еще ближе подходит к кровати больной и говорит: «Матушка приказала мне спросить вас, не желаете ли вы и не нужно ли вам, чтобы она вас навестила».

Больная хрипит еще протяжнее.

Кокошкин: «Сестрица очень благодарит матушку вашу за доброе предложение, но просит ее заехать к ней попозже, когда ей будет легче».

Офросимов: «Да помилуйте, Федор Федорович, что это переводите вы мне по-своему мычание и хрипение сестрицы? Она ничего не слышит и не понимает и ни одного слова выговорить не может, а вы сочиняете за нее ответы».

Сестрица вскоре затем скончалась, а между наследниками началась тяжба.

Старая Москва была богата рудой подобных Офросимову оригиналов-самородков. Когда жил я в ней, я их всегда отыскивал и привязывался к ним. На всех московских есть особый отпечаток. То-то и беда, что не на всех, а только на некоторых. И за то спасибо! Оригинальность, когда она не напускная, не изученная, не поддельная, не подкрашенная, есть всегда более или менее признак независимости характера, а подобная независимость есть своего рода мужество, своего рода доблесть. Дон-Кихот может быть смешон, но прежде всего он рыцарски благороден. Иногда уже и то вменяется в достоинство, что бываешь не похож на других.

Мы не касаемся здесь исторических оригиналов, этих почтенных обломков другого века, другого славного царствования. Они на почве Москвы, хотя и старой, но которую всё же начало уже проветривать свежее влияние новых времен, составляли, так сказать, особый, заматерелый слой: он не смешивался с другими. Для изображения подобных археологических оригиналов надобно приступить к начертанию исторической картины. Здесь довольствуемся тем, что накидываем беглым карандашом отдельные очерки, рисунки для альбома.

Вот еще несколько отдельных лиц, которые выглядывают из памяти моей.

Старик Приклонский, едва ли не единственный на твердой земле, добросовестно и по глубокому убеждению не признавал за Наполеоном императорского титула. До конца жизни своей честил он его не иначе как Первым консулом, к которому питал сочувствие. Он горячо отстаивал мнение свое и не менее горячо негодовал на слабодушие правительств и журналов, которые величали Наполеона императором.

Был еще оригинал, повсеместный, всюду являющийся, везде встречаемый. Он не был оригинал тонкой и примечательной грани; всё было в нем довольно грубо и аляповато;

со всем тем все любили его. Он вхож был во все лучшие дома. Дамский угодник, он находился в свите то одной, то другой московской красавицы. Откуда был он? Какое было предыдущее его? Какие родственные связи? Никто не знал, да никто и не любопытствовал узнать. Знали только, что он дворянин Сибилев, и довольно. Аристократическая, но преимущественно гостеприимная Москва не наводила генеалогических справок, когда дело шло о том, чтобы за обедом иметь готовый прибор для того и для другого. Сибилев имел в Москве, вероятно, двадцать или тридцать таких ежедневно готовых для него приборов.

Хотя и нахлебник, не был он, так сказать, дворовым ни в одном доме, а держал себя пристойно и даже с некоторой независимостью. Бедный или по крайней мере весьма ограниченный в средствах своих, никогда не был он прилипалой пред богатой знатью. Еще одно достоинство: несмотря на проживание его то там, то здесь, он не был сплетником и не переносил сору из одного дома в другой. Вообще был он нрава веселого и большой хохотун. У него были кошачьи ухватки. Он часто лицо свое словно облизывал носовыми платками, которых носил в карманах по три и по четыре. Князь Юсупов говорил про него: «Он не только московский ловелас, но и московский ложелаз». Так прозвал он Сибилева потому, что, бывая во всех спектаклях, он никогда ничего не платил за вход, а таскался по ложам знакомых своих барынь.

Забавно, что, не зная французского языка и не понимая на нем ни полслова, он попал в театральную французскую историю, которая в свое время наделала много шума в Москве, как сама по себе, так и по своим последствиям. Русская барыня (Карцева) содержала некоторое время труппу французских актеров. Лучшее московское общество охотно посещало ее театр. По каким-то закулисным или внекулисным обстоятельствам содержательница невзлюбила молодую актрису, которая была любимицей публики. Однажды в ее роль на сцену явилась другая актриса. Публика встретила ее дружным шиканьем: не давали ей пикнуть. Вслед за тем стали требовать прежнюю актрису.

Шум и разные наступательные заявления поминутно разрастались. Публика начала вызывать к ответу директрису театра. Завелась гласная и крупная полемика между креслами и сценой. Пересылались с одной стороны к другой колкости и разные поджигательные вызовы.

Полиция была в недоумении и не знала, на что решиться, тем более что спектакль не принадлежал императорской дирекции, а был совершенно частный. Казус выходил неслыханный в летописях полиции и театра. Разумеется, донесли о нем в Петербург, вероятно, с некоторыми преувеличениями и вышивками. Из Петербурга не замедлило прийти приказание арестовать зачинщиков скандала и рассадить военных или военно-отставных по гауптвахтам, а статских – по съезжим домам. Наш бедный ложелаз, не повинный тут не единым словом, попал в сей последний разряд. В числе временных жильцов съезжей был и богатый граф Потемкин. Сей великолепный Потемкин, если не Тавриды, то просто Пречистенки, на которой имел он свой дом, перенес из него в съезжий дом всю роскошную свою обстановку. Здесь давал он нам лакомые и веселые обеды. В восьмой день заточения приехал, во время обеда, обер-полицеймейстер Шульгин 2-й и объявил узникам, что они свободны.

Всё это было довольно драматично и забавно, и замоскворецкий съезжий дом долго не забудет своих неожиданных и необычайных арестантов. Сибилев получил новую известность своим в чужом пиру похмельем.

В числе оригиналов как не помянуть Новосильцева, приятеля графа Растопчина! Он слыл каким-то таинственным нелюдимом, запертом в своем недоступном доме. Москва только и знала его как какого-нибудь стамбульского пашу. С трубкой во рту разъезжал он по городским улицам на красивом коне, покрытом богатым и золотом вышитым черпаком и увешанном богатой цепочной сбруей. Народ, встречаясь с ним, снимал шапки, недоумеая, как величать его.

Разве всё это не живописно? Встречаются ли еще подобные оригиналы-самородки в нашей Белокаменной, или и они переплавлены в общем литейном горниле в одну сплошную и безличную массу? Жаль, если так!

Вскоре после учреждения жандармского ведомства Ермолов говорил об одном генерале: «Мундир на нем зеленый, но если хорошенько поискать, то наверно в подкладке найдешь голубую заплатку».

– Что значит это выражение *армяшка*, которое вы часто употребляете? – спросил Ермолова князь Мадатов.

– По-нашему, – отвечал Ермолов, – это означает обманщика, плута.

– А, понимаю, – подхватил Мадатов. – Это то, что мы по-армянски называем *Алексей Петрович*.

* * *

Когда в некоторых журналах наших встречаются (а встречаются часто) французские слова и поговорки, вкривь и вкось употребляемые, это всегда приводит мне на память рассказ Толстого. Он ехал на почтовых по одной из внутренних губерний. Однажды послышалось ему, что ямщик, подстегивая кнутом коней своих, приговаривает:

– Ой вы, Вольтеры мой!

Толстому показалось, что он обслушался, но ямщик еще раза два проговорил те же слова.

Наконец Толстой спросил его:

– Да почему ты знаешь Вольтера?

– Я не знаю его, – отвечал ямщик.

– Как же мог ты затвердить это имя?

– Помилуйте, барин: мы часто ездим с большими господами, так вот кое-чего и понаслушались от них.

* * *

КЛЮЧКИ РАЗГОВОРОВ, мимоходом СХВАЧЕННЫХ

Х: В этом человеке нет никаких убеждений.

С.: Как никаких? Есть одно неизменное и несокрушимое убеждение, что *всегда* должно плыть по течению, куда бы не несла тебя волна, всегда быть на стороне силы, к какой бы цели не была она направлена, всегда угождать тому или тем, от которого и от которых можно ожидать себе пользы и барыша.

* * *

Х: Можно ли было предвидеть, что он так скоро умрет! Еще третьего дня встретился я с ним, он показался мне совершенно здоровым.

Р.: А я уже несколько времени беспокоился о нем. Он был не в себе, как говорят, не в своей тарелке.

Х: Что же, вы заметили, что по делам, в присутствии?..

Р.: Нет, тут не замечал я ничего особенного. Всё шло как следует, и никакой перемены в нем не оказывалось. Он слушал и подписывал бумаги безостановочно, но в последние три-четыре дня он делал ошибки в висте, по которым можно было заключить, что начинается какое-то расстройство во внутреннем его механизме.

* * *

Г. (хозяин за обедом): А вы любите хорошее вино?

НН: Да, люблю.

Г.: У меня в погребе отличное вино, еще наследственное: попотчую вас в первый раз, что пожелаете ко мне обедать.

НН (меланхолически и вполголоса): Зачем же в первый раз, а не в этот?

* * *

Князь*** (хозяин за ужином): А как вам кажется это вино?

Пушкин (запинаясь, но из вежливости): Ничего, кажется, вино порядочное.

Князь***: А поверите ли, что тому шесть месяцев нельзя было и в рот его брать.

Пушкин: Поверю.

* * *

Другой хозяин (за обедом): Вы меня извините, если обед не совсем удался. Я пробую нового повара.

Граф Михаил Виельгорский (наставительно и несколько гневно): Вперед, любезнейший друг, покорнейше прошу звать меня на испробованные обеды, а не на пробные.

Третий хозяин: Теперь поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе.

Граф Михаил Виельгорский: Это хорошо, но то худо, что и повар ваш, кажется, употреблял на кухне масло историческое, которое хранится у вас от деда вашего.

* * *

Зрелая девица (гуляя по набережной в лунную ночь): Максим, способен ли ты восхищаться луной?

Слуга: Как прикажете, ваше превосходительство.

* * *

Шестнадцатого июня 1853 года узнал я о смерти Льва Пушкина. С ним, можно сказать, погребены многие неизданные стихотворения брата его, может быть, даже и не записанные, которые он один знал наизусть. Память его была – та же типография, частью потаенная и контрабандная. В ней отпечатлевалось всё, что попадало в ящик ее. С ним сохранились бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом; и он же мог бы изобличить в подлоге другие стихотворения, которые невежественными любителями соблазна несправедливо приписываются Пушкину. Станный обычай – чтить память славного человека, навязывая на нее и то, от чего он отрекся, и то, в чем часто неповинен он душой и телом. Мало ли что исходит из человека! Но неужели сохранять и плевки его во веки веков в золотых и фарфоровых сосудах!

Пушкин иногда сердился на брата за его стихотворческие нескромности, мотовство, некоторую невоздержанность и распущенность в поведении, но нежно любил его родственной любовью брата, с примесью родительской строгости. Сам Пушкин не был ни схимником, ни пуританином; но он никогда не хвастался своими уклонениями от торной дороги и не рисовался в мнимом молодечестве. Не раз бунтовал он против общественного мнения и общественной дисциплины, но, по утишении в себе временного бунта, он признавал законную власть этого мнения. Как единичная личность, как часть общества, он понимал обязанности, по крайней мере внешне, приноровляться к ней и ей повиноваться гласной жизнью своей, если не всегда своей жизнью внутренней, келейной. И это не была малодушная уступчивость. Всякая свобода какой-нибудь стороной ограничивается той или другой обязанностью, нравственной, политической или взаимной. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь.

Лев Пушкин, храбрый на Кавказе против чеченцев, любил иногда и сам, в мирном житии, гарцевать чеченцем и нападать врасплох на обычаи и условия благоустроенного и взыскательного общества. Пушкин старался умерять в младшем брате эти порывы, эти избытки горячей природы, столь противоположные его собственной *аристократической* натуре: принимаем это слово и в общепринятом значении его, и в первоначальном этимологическом смысле. Не во гнев демократам будь сказано, а слово *аристократия* соединяет в себе понятия о силе и о чем-то избранном и лучшем, то есть о *лучшей силе*.

Лев, или, как слыл он до смерти, Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила, может быть, и частичка гордости. Он гордился тем, что был братом его, и такая гордость не только прощительна, но и естественна и благовидна. Он чувствовал, что лучи славы брата несколько отвсечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему. Приятели Александра – Дельвиг, Баратынский, Плетнев, Соболевский – скоро сделались приятелями Льва. Эта связь тем легче поддерживалась, что и в младшем брате были некоторые литературные зародыши. Не будь он таким гулякой, таким *гусаром коренным*, или драгуном, может быть, и он внес бы имя свое в летописи нашей литературы. А может быть, задерживала и пугала его слава брата, который забрал весь майорат дарования.

Как бы то ни было, но поэтическое чувство было во Льве сильно развито. Он был совершенно грамотен, вкус его в деле литературы был верен и строг. Он был остер и своеобразен в оборотах речи, живой и стремительной. Как брат его, был он несколько смуглый араб, но смахивал на белого негра. Тот и другой были малого роста, в отца. Вообще в движениях, в приемах их было много отцовского, но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на них обоих. Другого сходства с нею они не имели. Одна сестра их, Ольга Сергеевна, была в мать и, кстати, гораздо благообразнее и красивее братьев своих.

Первые годы молодости Льва, как и Александра, были стеснены, удручены неблагоприятностью окружающих или подавляющих обстоятельств. Отец, Сергей Львович, был небогат, плохой хозяин, нераспорядительный помещик. К тому же по натуре своей был он скуп. Что ни говори, как строго ни суди молодежь, а должно сознаться, что нехорошо молодому человеку, брошенному в водоворот света, не иметь по крайней мере несколько тысяч рублей ежегодного и верного дохода, хотя бы на ассигнации. Деньги, обеспечивающие положение в обществе, – это необходимый балласт для правильного плавания. Сколько колебаний, потрясений, крушений бывает от недостатка в уравнивающем и охранительном балласте.

Когда-то Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали: в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им более не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар, да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовались они себя несколько дней.

После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на роковой поединок барона Геккерна, урожденного Дантеса, но приятели отговорили его от этого намерения.

Последние годы жизни своей Лев Пушкин провел в Одессе, состоя на службе по таможенному ведомству. Под конец одержим он был водяной болезнью, отправился по совету врачей в Париж для исцеления, возвратился в Одессу почти здоровым, но скоро принялся опять за прежний образ жизни; болезнь возвратилась, усилилась, и он умер.

Водяная болезнь Льва напоминает сказанное Костровым Карамзину незадолго до смерти. Костров страдал перемежающейся лихорадкой. «Странное дело, – заметил он, – пил я, кажется всё горячее, а умираю от озноба».

* * *

Кто-то сказал про Давыдова:

- Кажется, Денис начинает выдыхаться.
- Я этого не замечаю, – возразил NN.
- А может быть, у тебя нос залег?

Когда Михаил Орлов, посланный в Копенгаген с дипломатическим поручением, возвратился в Россию с орденом Даненброг, его спросили в московском Английском клубе: – Что же, ты очень радуешься салфетке своей?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.